Михаил Аношкин



КЫШТЫМЦЫ

A. [illegible] —

МИХАИЛ
АНОШКИН

КЫШТЫМЦЫ

Роман

Южно-
Уральское
книжное
издательство
Челябинск · 1975

Р2 **Аношкин М. П.**
А69 Кыштымцы. Роман. Челябинск, Южно-Уральское кн. изд-во, 1975.

217 с.

Михаил Петрович Аношкин — автор более двадцати книг.
Ведущая тема его творчества — Великая Отечественная война. Ей посвящены повести «Суровая юность», «Уральский парень», трилогия, в которую вошли книги «Прорыв», «Особое задание» и «Трудный переход».
Новый роман Аношкина — о первых шагах советской власти в уральском городе Кыштыме, о поисках путей к новой жизни.

А $\frac{0732-045}{М\ 162\ (03)-75}$ 38—75 **Р2**



Возвращение

Говорят, Кыштым — тихое зимовье. Может, и было когда-то тихим. Только в эту зиму ни одного погожего денька не было.

Погода погодой, но и в людской жизни покоя нет.

Прошлой осенью большевики прогнали Керенского, объявили Советскую власть. Правильно сделали. Что путного ждать от буржуев? А в Кыштыме самые империалистические акулы заворачивали — английские да американские. Не отдают заводы: мол, мы вашу новую власть не признаем, заводы не отдадим, рабочий контроль не допустим. Пришлось посылать гонцов в Совет Народных

Комиссаров, чтоб он помог прижать спесивых чужаков. Тогда вышел специальный декрет: отныне и во веки веков передать кыштымские заводы во владение народу.

Легко сказать — передать. У заморских хозяев всяких заступников хоть пруд пруди. И среди кыштымского народа тоже нет полного согласия. Кто новую власть отлаживает, а кто костерит ее. Борису Швейкину или Григорию Баланцову и всем их друзьям ясно, что к чему. Они эту власть хотели, они ее и установили. А остальные?

А тут еще лихая погода. Летом не все смогли на покосы выбраться, сена самую малость заготовили. Началась бескормица. У кыштымца коровенка да лошаденка — основа благосостояния. На заводах много не заработаешь, особенно в теперешние времена.

Кто побогаче, у того с лета заготовлено всякого добра — в ус не дует. Все одно рано или поздно подуют теплые ветры, изойдут снега вешней водой и зазеленеет трава-мурава.

У Луки Самсоныча Батятина достаток не такой, как, скажем, у торговца Пузанова, но и немалый. Крестовый дом под железной крышей, тесовые ворота с резными финтифлюшками. Сеновал под железом, амбар с железной накладкой на двери. На дворе волкодав гремит цепью.

Редко кто попадает в Лукашкину крепость. А если кто и решается, то сначала побрякает чугунной щеколдой и с опаской слушает, как басовито рычит волкодав. Некоторое время никто не подает признаков жизни. Лишь потом в окне, на котором полыхает герань, дрогнет занавеска и в щелке мелькнет настороженный глаз. После этого выбегает во двор Лукашка, отодвигает засов, хватает волкодава за ошейник и тащит в глубь двора. Кричит оттуда:

— Эй! Айда — не стой!

Гость робко открывает калитку и, прижимаясь к стен-

ке, торопится преодолеть те пять саженей, которые отделяют его от добротных тесовых сеней. И эти пять саженей кажутся ему черт знает какой опасной дорогой, потому что волкодав рвется из рук хозяина, хрипит, роняя желтую пену. Того гляди перевернет Лукашку и в два прыжка настигнет незваного гостя и растерзает на мелкие части.

У Батятина во дворе две коровы пережевывают жвачку и шумно вздыхают, будто кто из кузнечных мехов дух выпускает. Конь-рысак застоялся в конюшне, переступает коваными копытами по деревянному настилу. Порезвиться бы ему на воле, да Лукашка боится — как бы комиссары не отобрали. Они теперь все подряд отбирают. Вон Пузанова почти нищим оставили, а какой был удачливый купец! В другом закутке разномастная лошаденка Пеганка хрупает овес. Эта для всяких хозяйственных разъездов: сено с покоса вывезти, за водой на заводской пруд съездить. Мало ли дел по хозяйству? И овец во дворе целая дюжина да куры по зимнему времени в подполе спрятаны, чтоб не померзли.

Рядом с его крестовым домом — избенка из кондовых бревен. Тесовая крыша ее обветшала. Кое-где тесины прогнили — снег забился на чердак. И над воротами крыша прохудилась. Взять бы топор да пройтись по этим крышам: там прибить, тут приколотить, здесь подтесать или подновить. Глядишь, заиграла бы избенка.

А кому пройтись с топором-то? Ивана Серикова еще в четырнадцатом забрили в солдаты и угнали на румынский фронт. Письма прилетали от него редко, а в семнадцатом после Февральской революции, и вовсе будто сгинул Иван. То ли в плен попал, когда провалилось летнее наступление, то ли сложил свою буйную голову во чистом поле во чужой стороне, а может, просто забыл глазастую Глафиру свою. У них с Иваном была дочурка Дарьюшка, да вот не уберегла ее Глаша. Нанялась в прислуги к Пузанову, день-деньской пропадала в его хоро-

мах. Дочку поначалу с собой брала, да не понравилось это Пузанихе. Накричала она на Глашу, и пришлось дочку оставлять дома без присмотра. Упала Дарьюшка в подпол. Как это произошло, Глаша и до сих пор понять не может, ведь крышка-то была закрыта. С тех пор Глашу будто пришибло. Сама не своя. Разбила любимую чашку у Пузанова. Он на нее орал, ногами топал. Она молча глотала слезы. Выгнал Пузанов Глашу. Голодные времена наступили. Одно спасение — Буренка. Еще в подполе три мешка картошки. Мечтала Глафира дотянуть до теплых дней. А проклюнется зелень, тогда выжить легче.

Спасибо соседям — помогали. Особо подружка Тоня Мыларщикова. Муж у нее работал на медеэлектролитном. Двое ребятишек росли—Назарка да Васятка. Не сказать, чтобы в достатке жили, но концы с концами сводили. Великое дело — мужик в доме.

Лука что-то повадился к Глафире.

Придет под вечер, шапку скинет, перекрестится на образа и скажет:

— Вечер добрый, Глафира!

— Добрый, Лука Самсоныч.

Она кинется к табуретке, обмахнет ее для порядка тряпкой.

— Некогда рассиживаться. Скотина на дворе не поена.— А глаза масляные, бесстыдно льнут к Глашиному телу. Зябко ей, кутается в серую шаль.

— По-соседски я, чуток маслица принес. Пригодится.

— Чего это вы, Лука Самсоныч? Я ведь ничего... Как-нибудь.

— Ну картохи поджаришь, еще чего там. Охудела ты шибко.— Лука делал к ней шаг — в подшитых валенках, в старой борчатке. Бородка клинышком, лицо благостное, а в усах похотливая улыбка. Гладит Глаше плечо. Она ежится, отодвигается от него.

— Скучно, небось, без мужика-то, кой год ведь одна.

— Не думайте ничего, Лука Самсоныч.

— Ну, ну, только ты моей оглашенной ни гу-гу про маслице-то. Она у меня упырь. Чуть что — за кочергу.

— Да я что... Напрасно вы с маслицем-то... Не к чему...

— Ну не говори, оно пользительное.

Он клал завернутый в тряпицу колобок масла и говорил:

— Ужо забегу я к тебе, Глафира, как-нибудь. Покалякаем. Моя-то в Касли к свояченице собралась.

Он и вправду потом воровски скребся к ней в окошко. Она лежала на печи и дрожала. Звала себе на помощь всех святых и в то же время опасалась: а вдруг Лука обидится? Но он не обижался. Появлялся снова... Все-таки надеялся.

Буренка доедала последние клочки сена, а до зеленой травы было еще далеко. Как ни крути, а Батятину кланяться придется. Можно бы постучаться к Мыларщиковым, да у них у самих не густо. А у Луки на сеновале запас на целый околодок — всех соседских коров прокормить мог бы. А запросит, особенно с Глаши, самую невозможную плату... Страшно подумать.

Занемогла сегодня Глаша. Кое-как напоила и накормила Буренку, истопила на ночь печь и пластом свалилась на кровать.

Послышался робкий стук в окно. Глаша очнулась, прислушалась. Поблазнилось? Кто мог стучать в глухую полночь? Лука? С него станется! Тишина. Женщина успокоилась. Облизала пересохшие губы, натянула на себя старенькое стеганое одеяло, подумала: «Наверное, поблазнилось».

В окно постучали настойчиво и громче. Глаша уже не сомневалась, что происходит это наяву. Но кто? Лука так не стучится. Он скребется, как кошка. Не у Мыларщиковых ли что стряслось? Глаша, превозмогая слабость,

встала на ноги. Голова закружилась. Схватилась за спинку кровати, чуть пришла в себя и шагнула к окну:

— Кто там?

— Открой, Глашенька!

— Да кто это? — сгоряча не разобрала она и вдруг схватилась за грудь — сердце сжало. Иван! Уже четыре года не слышала, чтоб кто-нибудь называл ее Глашенькой.

— Открой, Глашенька, это я — Иван.

— Нет-нет...

— Да открой же!

Она не помнила, как добралась до двери, не заметила, как откинула тяжелый железный крючок, как вместе с морозом в избу ворвался бородатый человек. Все это она воспринимала как в тяжелом бреду. Человек поставил в угол палку,— да нет, какая же это палка — это винтовка! — сбросил со спины вещевой мешок и обнял пылающую Глашу. Она почувствовала шершавый холод его шинели, щекотку от густой бороды на своем лице, ощутила на спине сильные теплые ладони и по ним, по их особому теплу окончательно поверила, что это ее Иван. Он изменился, с бородой и усами, а ладони остались прежними — теплыми, ласковыми, сильными. И она потеряла сознание.

Очнулась днем. В нос ударил колючий запах табака— в ее избе давно никто не курил. Вспомнила ночной стук, сильные теплые ладони на спине, и что-то подкатило к горлу. Глаша заплакала, слезы поползли по щекам.

— Слава богу, оклемалась.— Глаша узнала голос Тони Мыларщиковой. Та наложила на лоб больной холодный компресс.

— Все будет хорошо,— продолжала Тоня.— Всякое случается.

— Вань, а Вань,— тихо позвала Глаша и напряглась, ожидая, что Тоня сейчас скажет: «Бедняжка, все еще бредит...»

Но услышала:

— Тут я, Глашенька!

Тогда она открыла глаза, чуть приподнялась и увидела: Иван стоял в ее ногах, у кровати, в старенькой солдатской гимнастерке, на груди тускло поблескивал Георгий. Муж был чисто выбрит, уже без бороды, а усы вот оставил. Возмужал, в переносье залегла складка. И еще в глазах не заметила Глаша прежней лихости.

— Вань,— прошептала она,— чой-то мне неможется.

— Лежи, лежи, это пройдет,— утешил ее Иван.

— Так я пойду, Иван Митрич. Потребуюсь — кликнешь.

— Спасибо тебе, Тоня. Михаилу привет, пусть заглянет.

— Прибежит! А ты, Глань, держись, у тебя радость, а ты раскисла.

Мыслимо ли — Иван вернулся! А Глаша уже не надеялась его увидеть. Бабы всякое судачили и сходились на одном: сгинул Иван на веки вечные. А он вот он! Ишь какой ладный, красивый, да еще георгиевский кавалер!

...По дому Иван истосковался. Руки чесались по мирной работе. Бывало, в окопе или лазарете зажмурит глаза и видит наяву — три окошка с голубыми ставнями, петушка на коньке крыши, островерхую макушку горы Сугомак, за которую в непогодь цепляются тучи, и даже батятинскую крепость. И обязательно весной. Теплынь кругом. Земля на солнце согревается, слегка парит. Сам Иван в огороде лопатой перекапывает гряды под морковь. И до того четко это виделось, что он чуял запах отогревшейся земли, слышал легкие скребки железа о камешки. И видел, как на вывороченном коме земли лениво извивается розовый дождевой червь. А вот Глашу чем дальше, тем представлял смутнее. Дочка Дарьюшка совсем не запомнилась.

А дома все не так, как представлялось. Петушка кто-то с конька сбил или он сам от ветра свалился. Облу-

пилась голубая краска с наличников, выели ее ветер и дождь. Свел со двора Пеганку Батятин за два мешка муки. Старый чересседельник висит на стене избы и напоминает — была в этом доме коняшка. Была да сплыла. Глаша постарела. Какая у одинокой бабы по лихим-то временам жизнь?

Иван заглянул в избу:

— Глань, топор-то у тебя есть?

— В чулане.

Топор старый, сам Иван покупал на ярмарке до войны. Топорище кто-то другое насадил — корявое, неструганное. Ничего, придет срок — выстругает половчее.

Первым делом залатал сарайку, чтоб Буренке не дуло. Глаша звала его завтракать, но Ивану жалко расставаться с топором. До того в охотку им махалось, до того любо приколачивать доски на щели, вгонять в них податливые гвозди — ни дум, ни усталости.

— Иду, иду,— откликнулся он, наконец, когда Глаша позвала в третий раз.

Но поесть им вдвоем не дали. Появился Михаил Мыларщиков, Тонин муж. Принес миску окуней. Иван как глянул на них, так и ахнул от радости. Нигде нет вкуснее рыбы, чем в Кыштыме, а лучше того окуней. Какая уха-то получится из этих красавцев — язык проглотишь и не заметишь.

— Вот это да! — удивился Иван.— Где ты их натаскал?

— На Сугомаке.

Мужчины обнялись. На глазах слезы. Старинные друзья — соседи, вместе холостяжничали. Правда, Михаил года на два старше Ивана. На войну не взяли — медь плавил.

Глаша всплакнула, а потом спросила:

— Чего Тоню-то не взял?

— Приборку затеяла, да Назарку с Васяткой хочет купать.

— Могла бы и потом.

— Глань,— улыбнулся Иван,— а ведь рыба по суху не ходит.

— Мигом к бобылю сбегаю,— заторопилась Глаша.— Поди одолжит.

— Надо ли? — посомневался Мыларщиков.

— А как же?— удивился Иван.— Столько лет не виделись. Иди, иди, Глашенька!

Накинула на плечи шубейку и побежала к бобылю. Мужики прошли в горницу, уселись за стол и задымили самосадом.

— Вот и снова в этой избе мужским духом запахло,— сказал Мыларщиков и спросил:— Где пропадал-то?

— Чуть не с того света, братишша, вернулся. В шестнадцатом, когда Брусилов на прорыв пошел, сильная заваруха получилась — во сне не приснится. Там меня и садануло. В лазарет привезли чуть тепленького, насквозь продырявило в нескольких местах. Подлатали малость и обратно на фронт. А в летнее-то наступление в ногу шарахнуло,— Иван похлопал себя по коленке.— Оттяпать доктора-то хотели. Не дал.

— Выходит, досталось тебе на орехи.

— В полную меру. Лежал в лазарете и соображал: отпластают ногу, жить не буду. Куда калекой-то? Вспомню горы да озера и, веришь, слезами обливаюсь. Без ноги-то ни в горы, ни на покос, ни по хозяйству чего. Да что об этом толковать. Лучше скажи, как вы тут? Кто верховодит?

— Борис Швейкин, Баланцов, Тимонин.

— Что ты?! — удивился Иван.— Борис? Выжил в Сибири-то? Его ж, кажись, навечно туда затуркали?

— Выжил, да только хворым вернулся. Чахотка.

— Мать честна! А ты сам как? С кем водишься?

— С Борисом Швейкиным.

— Значит, большевик?

— Значит, большевик. А ты?

— Я? — кисло улыбнулся Иван.— Я, братишша, сам по себе. Без партии я. Желаю пожить по-человечески.

— Так ведь не дадут тебе жить по-человечески.

— Пусть попробуют. Я себя в обиду не дам, постоять за себя сумею — война научила.

— Ты что — слепой? Не замечаешь, что кругом творится? В Кыштыме контрики затаились. В Метлино да Тюбуке кулаки шевелятся. Спят и во сне видят, как бы нам головы отсечь. А ты спокойно пожить хочешь?

— Ты как на митинге. Наслушался я на них. Большевики свое, меньшевики свое, эсеры и анархисты тоже. Всяких слышал. И заметь — все пекутся о трудовом народе. А по моему разумению, они о себе пекутся.

— По-твоему выходит, я тоже о себе пекусь? И Швейкин в Сибири чахотку нажил — тоже о себе пекся? Ну, знаешь ли, говори, да не заговаривайся.

— Ну, про вас я, понятное дело, ничего...

— Думал, тебе там мозги с мылом промыли, а ты, оказывается, темный еще.

— Брось! — свел брови у переносья Иван.— Обижусь!

Оба облегченно вздохнули, когда в сенках послышался стукоток и шорох — возвращалась Глаша. И не одна, а с дедом Микитой, бобылем. За годы, пока Иван скитался в чужих краях, дед высох, на чем только висит полушубок. Седые волосы пожелтели. С клюшкой ходит — старость к земле клонит. А брови по-прежнему густющие, только поседели. Под ними прячутся карие глаза. Бобылю за семьдесят.

— Мир дому сему! — сказал дед Микита. Клюшку под мышку, содрал с головы заячий малахай, кинул его на лавку и крупно перекрестился.

— Доброго здоровьичка, Никита Григорьевич,— отозвался Иван, поднимаясь навстречу.— Проходите в горницу, гостем будете.

— А косушку поставишь — хозяином,— пошутил Мыларщиков.

— С возвращением тебя, Иван Митрич, и с Георгием тоже!

Старик с помощью Глаши снял полушубок и пошаркал в горницу. Сел на табуретку напротив Мыларщикова, разгладил бороду и спросил Ивана:

— Мово Петруху не видал на войне-то?

— Не приходилось.

— А я кумекал — авось встречались. Хотел выведать, каков он стал — Петруха-то мой. Годков этак десяток не видались мы.

— Петруха у него мужик что надо,— сказал Мыларщиков.— Зимний брал. Теперь в Питере по воинской части.

— Он у меня такой. Так ты, девка, давай по стакашку,— повернулся бобыль к Глаше, а потом уже к Ивану:— Прибегла — самогонки нетути? А зачем, спрашиваю. Ваня, грит, вернулся. Ишь ты! А я все Петруху жду, припрятал для него. Так, сказываешь, не видал Петруху?

— Не видал, дедушка.

Бутылка опустела быстро. Бобыль захмелел враз. Наклонив седую, всклоченную голову, грустно покачивал ею и дребезжащим голоском затянул:

А на том корабле
Два полка солдат,
Два полка солдат —
Молодых ребят.

Глаша тронула старика за рукав и участливо спросила:

— Может, приляжете?

— Домой пойду,— сказал дед Микита и повернулся к Ивану:— Сказываешь, не видал мово Петруху?

— Не видал, Никита Григорьевич.

Глаша помогла старику одеться, сунула под мышку

клюшку, собралась проводить его. Но поднялся и Михаил Иванович:

— Пора и честь знать. А дедушку я сам провожу.

— Посидели бы еще, Михаил Иванович,— попросила Глаша.

— В другой раз. Делов невпроворот. А с тобой, Митрич, мы еще поговорим. Шибко ты меня расстроил.

— Чего бы это?

— Не будем по пьяной лавочке об этом толковать.

— Это верно,— согласился Сериков.

Ой, да не спускай листа
Во синя моря.
По синю морю
Корабель плывет,—

опять замурлыкал бобыль. Мыларщиков подхватил его под руки и вывел из избы. Иван, накинув на плечи шинель, вышел их провожать во двор. По небу ползли серые тучи, в воздухе кружился редкий снежок. Прощаясь, дед Микита спросил:

— Мово Петруху не видал на войне-то?

Смеясь, ему ответил Мыларщиков:

— В Питере твой Петруха, а Иван из Киева прикатил.

Дед глянул на Михаила Ивановича из-под густых бровей вроде бы усмешливо и отозвался:

— Господи, помилуй, а они рази не рядышком стоят?

Когда Иван вернулся в избу, Глаша мыла посуду. Стояла к нему спиной. Под белой блузкой шевелились лопатки. На затылке, свивались колечки волос. Что-то теплое прихлынуло к Иванову сердцу. Он движением плеча скинул шинель прямо на пол и, стараясь не скрипеть половицами, подкрался к жене, сжал ее худенькие плечи и повернул к себе лицом. Она подняла на него глаза, застенчиво улыбнулась и сказала тихо:

— Постой, руки вытру. Мокрые они...

— А что мне мокрые,— прошептал он, стискивая жену

в объятиях. И она вмиг обмякла. Потом они, не зажигая огня, поужинали. К ним кто-то стучался. Иван и Глаша, притаившись, не отвечали. Никого им не надо было. Так хорошо дышалось вдвоем.

Швейкин

Мало-помалу в Кыштыме утверждалась и становилась на ноги советская власть. Был избран Центральный деловой совет, чтобы вершить делами всего горного округа, а для присмотра за ним образовали контрольный комитет.

В Совете рабочих и солдатских депутатов дела вершил Борис Швейкин. Народ туда валом валил. Кто по нужде, кто по душам потолковать. А кто и с камнем за пазухой.

Нынче у Бориса Евгеньевича снова народ. Комнатушка — приемная маленькая. Сидели на табуретках и лавках, иные — на подоконниках.

Швейкин в своем кабинете разговаривал по телефону. Наконец с облегчением повесил трубку на рычажок, крутнул ручку два раза, давая отбой, и спросил Ульяну, своего секретаря:

— Много сегодня?

— Да хватит.

Борис Евгеньевич пригладил курчавые волосы и вышел в приемную. Окинул посетителей внимательным взглядом, задержал его на обросшем щетиной лице: «Ба, сам Пузанов! Прибеднился. Тужурку-то, наверное, у работника взял. На ногах пимы подшитые. Бедняк и бедняк!»

Возле двери на табурете примостилась старуха. На лице у нее морщин, будто на пашне борозд после пахоты. Повязалась черной шалью, у которой кисти кое-где повылезли. Уронила на колени натруженные руки с узловатыми ревматическими пальцами.

— Вам что, мамаша?

— Жить не знаю как, сынок.

— Что же у вас стряслось?

— Хуже и некуда. Сынов моих поубивали. Одново германец сгубил, другова в Катеринбурге в революцию.

— А как ваша фамилия?

— Да Мокичевы мы.

Мокичевы! Сколько их, Мокичевых, в Кыштыме! И на Нижнем, и на Верхнем. В шестом году в боевой дружине было два брата Мокичевых — Маркел и Дмитрий. Старший Маркел добродушным и увалистым был. Все боялся самодельной бомбы — вдруг в руках взорвется. Дмитрий, поджарый и юркий, норовил попасть в дело поопасней, осаживать приходилось. Когда угнали на каторгу, потерял из виду братьев Мокичевых. Швейкин спросил старушку:

— Как звали сынов-то ваших?

— Одново Маркелом, а другова Митькой. Может, слыхивал?

Маркел да Дмитрий... Сидит перед Борисом Евгеньевичем измученная горем старуха Мокичева. Одна. Не успели сыновья подарить матери даже внуков.

— Уля! — позвал Швейкин.— Свяжись, пожалуйста, с Тимониным. Пусть поможет. Потом скажешь мне, как у тебя получится. Ступайте домой, мамаша. Все будет хорошо.

— Дай тебе бог здоровья, сынок. А то хоть ложись и с голодухи помирай. Нету у меня кормильцев-то, а самато я чо могу?

Мокичева ушла. Швейкин спросил:

— Так у кого что, граждане?

Заговорили враз. Борис Евгеньевич поднял руку, призывая к тишине.

— По порядку, граждане. Хотя бы вы, гражданин Пузанов. Что у вас ко мне?

У Пузанова губы задергались, глянул на Швейкина

искоса, вроде бы удивленно — почему именно меня первого? Щеку небритую потер, трескоток пошел. Это тебе не с Глашей Сериковой разговаривать. Это власть. Царь Борьку на каторгу упек, а теперь вот царя нет, а Борька властью стал. И приходится унижаться.

— На самоуправство пришел жалиться. Где видано, чтобы справного мужика рубить под корень? Сперва денежным налогом обложил, теперь хлебным. Откуда у меня хлеб? Ты сам тутошний, душу нашу должон понимать!

— Сколько же у вас заимок?

— Заимок! Да я их у леса отнял, кровавыми мозолями исходили руки-то! Во!

Подсовывает огрубелые ладони с мозолями. Черенком лопаты нажгло, дома конюшню сам чистит. А покорчевал бы лес, не такими бы ладони сделались.

— Зачем же такие страсти, гражданин Пузанов? — усмехнулся Швейкин.— На вас же пол-Кыштыма хребет гнуло.

— Не гнули, а работу я им давал, работу. Спасибо они мне говорили. И с другого боку разглядеть надобно. Пошто Пильщиковым меньше налог?

— Разберемся. Но зря тешите себя — никто вам спасибо не говорил. А вот что проклинали — это уж точно! Детей вами пугали. Так-то, гражданин хороший!

Борис Евгеньевич постепенно распалялся. На каких слезах этот паук богатство нажил? Кто же от него не стонал? Прибрал к рукам заимки. Люди приходили к нему гонимые нуждой, просили за ради Христа. Хозяйки несли в его лавки последние гроши, просили взаймы, а Пузанов куражился: вот, мол, какой я сильный! И драл втридорога. Жадность — она меры не знает. А теперь пришел в Совет. С какой же надеждой?

— Стало быть, все мои дела на счетах прикинули? — набычился Пузанов.

— Не волнуйтесь, счет предъявим по справедливости.

— По чьей?! — крикнул Пузанов.

— По нашей, рабоче-крестьянской! — тихо, сдерживая себя, ответил Борис Евгеньевич.

Пузанов потерял над собой контроль. Сорвался:

— Грабители! Но шалите — не дамся! — Крупно зашагал к двери, налетел на табуретку, зло отпихнул ее. Дверью хлопнул — едва окна вдребезги не разлетелись. У Бориса Евгеньевича тошнота подступила к горлу, дыханье перехватило. Спасибо Ульяне — подбежала со стаканом воды. Не девушка, а прямо находка. С полувзгляда поняла, что ему плохо.

Посетители все видели и слышали. Один бочком-бочком и на улицу — нет, на доброе им здесь надеяться нечего. Другие удивлялись — с Пузановым и так разговаривать! Забыли, что не старые времена.

Чуял Борис Евгеньевич, что не все одобряют крутой разговор с Пузановым. Возможно, и в самом деле перегнул малость? Глянул на старого литейщика Ичева Алексея Савельевича. Тот одобрительно улыбнулся. Ну, спасибо тебе, Савельич, гора с плеч.

Прием продолжался. Ичева Борис Евгеньевич оставил на последнюю очередь, чтоб потом с ним поговорить по душам один на один. Некстати появился Дукат из контрольного комитета, спросил с ходу:

— Скоро кончишь?

— Вот с Савельичем переговорю и все.

Дукат скрылся в кабинете Швейкина. Борис Евгеньевич пододвинул табуретку к Ичеву поближе.

— Тяжко? — участливо спросил Алексей Савельевич. Ему за пятьдесят, лицо сухощавое, в морщинах. Сутулится, даже когда сидит.

— И не говори,— вздохнул Швейкин.— Легче воз дров нарубить, чем с Пузановым спорить.

— Его тоже понять надо.

— Чего проще! Своя рубашка ближе к телу, снимут — разозлишься! А у него их много, может и поделиться.

— Так-то оно так,— произнес Савельич.— Только ведь не просто это. Вот ты грамотей, царской милости вволю нахлебался, в голове у тебя ясность.

— Да какая там ясность, Савельич! Сделаешь что и мучаешься — так или не так?

— Само собой, первому по сугробу завсегда трудно идти. Но идешь! Только я не о том. Привыкли наши кыштымские мужички и бабы бегать к Пузанову и к Пильщиковым. Испокон веков. Мука на исходе — к Пузанову. Керосину нет — к Пильщиковым. А к кому больше? И ненавидят, а идут. Большевики взяли да нарушили все, а своего пока ничего не дали. Вот и представь какое смятение у мужика. Опять же про темноту нашу сказать. Слышь, Якуня-Ваня, на Верхнем бывший управитель Ордынский объявился.

— А что ему надо?

— С бумажкой ходит и подписи собирает. Его, слышь, на работу никуда не берут. А будет бумажка с подписями рабочих, что не мордовал их, когда шишкой был, тогда возьмут.

— Ну и как — ставят?

— Ставят. Непривычно им без Ордынского и Пузанова. А вдруг да вернутся? Что тогда?

— Мда,— качнул головой Борис Евгеньевич.— Психология!

— Потому и пришел к тебе, упредить, чтоб у тебя не вышло расплоха.

— Спасибо!

— Да не за что! Забота у нас с тобой одна. Так я пойду. А то тебя Дукат ожидает. В случае чего — к нам. Подмогнем!

«Какая это невероятная сложность — классовая борьба,— подумал Швейкин, когда Ичев ушел.— Она и в крупном, и в мелком. И в том, что отняли у буржуев заводы, и в психологии обывателей, и в трагедии Мокичевой. Алексей Савельевич прав. Пузановых-то потрясли, а

взамен что дали? Идеи? Идеи — они воспламеняют, имеют могучую притягательную силу. Но ведь основная-то масса, принимая идеи, требует и самого насущного — хлеба, соли, керосину. Коль не можешь дать сейчас, объясни, убеди, что завтра это будет».

Дукат изнывал в ожидании, нервничал. Положил на стол клочок бумажки и, прихлопнув ладонью, сказал вошедшему Швейкину:

— Полюбуйся!

А Борис Евгеньевич откинулся на спинку стула, устало прикрыл глаза. И видел Пузанова с трясущимися от злости губами.

Дукат нетерпеливо ждал, когда очнется Швейкин. Метался по кабинету. А сапоги скрипели — жвак, жвак, жвак.

— Ты бы их смазал, что ли? — сказал Швейкин.

— Что смазал? — внезапно, будто перед невидимым препятствием остановился Дукат.

— Да сапоги-то. Уж больно скрипят.

В дверь просунулась рыжая голова Мыларщикова. Потухла плавильная печка, не у дел Михаил Иванович, вот и состоит при Совете. Вроде и должности никакой не занимает, а у Бориса Евгеньевича первый помощник.

— Заходи, заходи,— пригласил его Швейкин. Дукат нахмурился — третий лишний.

Михаил Иванович втиснулся нехотя. Эвон как Дукат на него зыркнул. Мужик властный. Не дай бог попасть под его горячую руку.

Борис Евгеньевич расправил ладонями бумажку, которую ему подсунул Дукат. В это время зазвонил телефон. Швейкин снял трубку, приставил осторожно к уху и подул в мембрану.

— Да, Швейкин у телефона! Да, да! Швейкин! Повторите — не понял. Ну-у-у! Надо же... Понял, понял... Просьбы? Есть одна. Оружие нужно, оружие, говорю. Нет, в Кыштыме спокойно, а в окрестных селах кулаки

пошаливают. Не без этого. Мало красногвардейцев? Желающие есть, вооружить нечем. Спасибо. Всего доброго!

Мыларщиков ухитрился прочитать, что было написано на бумажке: «Товарищ Дукат, все граждане просят вас от души оставить Кыштым и нас в покое, и ехать просим на все четыре стороны, а то будете убиты. Жребий пал на меня, я буду вас преследовать, так и знай. Солдат».

Мыларщиков украдкой поглядел на Дуката. Тот спиной заслонил чуть ли не пол-окна, глядел на улицу, руки сомкнул сзади. Они у него нервно подрагивали. Грозятся. Прямо горячка напала на этих пугателей: то Швейкину подкинут бумажку, то Баланцова стращают из-за угла кирпичом ошарашить. Теперь вот Дукату подкинули. Страх нагоняют, а сами боятся. А чего, к примеру, Швейкина стращать? Огонь и воду и медные трубы в придачу прошел.

Борис Евгеньевич разговор закончил. Но вроде бы что-то еще ждал. Отнес трубку на вытянутую руку и смотрит на нее. Но вот очнулся от дум, повесил трубку на никелированный крючок телефонного ящика. Там что-то жалобно звякнуло.

Пробежав бумажку глазами, Борис Евгеньевич возмутился:

— Вот паразиты!

Дукат вздрогнул от того, что Швейкин сказал это так громко, но осведомился спокойно:

— Екатеринбург?

— Да. От новостей — голова кругом. Убит Горелов!

— Горелов Николай Федорович? — подался к Швейкину Дукат.

Мыларщиков расслабленно опустился на табуретку:

— Это где же его?

— Выступал в Соликамске на митинге,— пояснил Борис Евгеньевич.— Какая-то истеричка стреляла в упор. Гроб с телом в Кыштым прибудет послезавтра.

— Может, самим съездить? — спросил Мыларщиков.

— Нет, екатеринбургские товарищи сделают все, но просят организовать встречу.

...Да, стреляют. Где из-за угла, где в упор.

Недавно Михаил Иванович едва убедил Бориса Евгеньевича носить при себе револьвер. Не ровен час — домой возвращается один, в Совете задерживается. Подкараулит какая-нибудь сволочь, и отбиться нечем.

Этого показалось Михаилу Ивановичу — мало. Гуртовались вокруг него заводские ребята, среди них был Кузьма Дайбов. Рослый такой, сапоги ему на особицу шили — никакой размер не подходил. Парень исполнительный и привязчивый. Ему и поручил Михаил Иванович охранять Швейкина, но чтоб тот и не догадывался об этом.

...Борис Евгеньевич позвал Ульяну. Пока она стояла, переминаясь с ноги на ногу, он торопливо записал на бумажке фамилии.

— Будь добра, обеги этих товарищей, чтоб были здесь.

Девушка бесшумно исчезла.

— По поводу угрозы,— повернулся к Дукату.— Без последствий не оставим. Будем пресекать,— и к Михаилу Ивановичу:— Займись. Эту контру надо непременно найти. У тебя получится. Пока твоя печка не горит, помогай. Утвердим на Совете, дадим полномочия — действуй!

— Михаил Иванович — мужик неплохой, спору нет. Но под силу ли ему такое, я бы сказал, деликатное поручение?

— Почему бы и нет?

— Противник у нас хитрый...

— Кого предлагаешь?

— Я, собственно, ничего не имею и против Мыларщикова, однако же...

— Что «однако же»? У нас, дорогой Юлий Александрович, Баланцов заворачивает Верхним заводом. А кто

он? Слесарь, еле-еле грамоте научен. Тимонин вон главный в деловом совете. И что? Особая подготовка у него была? Нет. Но партия сказала — и взяли власть в свои руки, теперь учимся управлять. Вот и Михаилу поручим, как ты говоришь, деликатное дело. А я бы добавил: очень опасное. Если, конечно, Михаил согласится. А то ведь опасно, а? — Швейкин обратился к Мыларщикову.

— У нас так говорят — глаза боятся, а руки делают.

— Лучше, чтобы и глаза не боялись,— вставил Дукат примирительно.

— Вот именно — чтобы и глаза не боялись и руки делали,— сказал Швейкин.

Дукат ушел успокоенный, пожелав на прощание:

— Что ж, успеха тебе, Михаил Иванович. В нем я кровно заинтересован, сам понимаешь.

Потом Швейкин доверительно открылся Мыларщикову:

— Сегодня Ичев сказал: трудно первому идти по глубокому снегу. Первым всегда трудно. Нас держат на мушке, в нас стреляют. Из Екатеринбурга просят начать запись добровольцев в Красную Армию. Немцы нацелились на Петроград, вот какие дела. А давно ли ушли добровольцы на войну с Дутовым, под Троицк? И еще новость — Ордынский объявился.

— Смотри-ка ты! — удивился Мыларщиков.

— Не ведаем, что у нас под носом творится. Бывший управитель расхаживает по Верхнему заводу, собирает подписи рабочих, а мы и в ус не дуем. И ведь находятся сердобольные — ставят. Уже десять таких набралось, старичков. До чего живуч дух раболепства! Люди-то боятся возврата старого, не верят в нашу прочность — вот какая тут психология. Займись, Михаил, без промедления. Чтоб духу его в Кыштыме не было!

Мыларщиков заторопился, Швейкин не стал его удерживать. Снова сжало сердце. Горелова убили! Борис Евгеньевич даже застонал — надо же!

Верхний Кыштым делился на несколько районов. Кыштымские большевики во время первой революции в каждый район назначили партийного организатора, подпольного, разумеется. Горелов был организатором на Тютнярском выезде, Швейкин — на Егозе. Организаторы частенько собирались вместе, обговаривали дела — зимой при свете керосиновой лампы во флигеле у Швейкиных, либо у кого другого, а летом собирались в густом сосняке на берегу озера. Даже выезжали на лодках на островок, что сиротел посреди заводского пруда.

Николай Федорович пришелся по душе Борису Евгеньевичу потому, что был немногословен и деловит. Сидит, бывало, слушает, усы большим пальцем поглаживает. Улыбка теплится под ними. Все спорят да прикидывают, а он помалкивает. Спросят:

— Чо думаешь-то, Николай Федорыч?

Он не спеша прокашляется, обведет всех внимательным взглядом и скажет:

— А чо думать? Маевку сделаем на Амбаше, а к самому празднику на часовне флаг красный выкинем.

— Времени-то осталось с гулькин нос, когда же успеете?

— Какая забота! У нас все готово!

В седьмом, когда организацию разгромили жандармы, Николай Федорович подался на Соймоновский прииск, там и пересидел смутное время. В прошлом году встретились как друзья. Оказывается, Николай дочкой обзавелся. Смущенно улыбнулся:

— В самое время. По новой жизни шагать будет.

И не увидит, как дочь по новой жизни шагать будет. В январе Екатеринбург к себе затребовал. Борис Евгеньевич с протестом — у себя работников не хватает, в Совете некому работать. В ответ сердито:

— Знаем! В других местах еще хуже.

Уж куда хуже, наверно, было в том Соликамске. Припрятали богатеи добро, ощетинились против советской

власти. Послали туда рабочих-красногвардейцев, вместе с ними и Николая Горелова. И вот такое горе...

В этот день тоже много заседали. Кончили уже за полночь. Как-то с первых дней повелось — времени всегда не хватало да и слишком большие и порой незнакомые дела приходилось решать. Пока обговорят, пока во всех деталях обсудят, поспорят, глядишь, уже и третьи петухи поют.

Швейкин спешил домой. Продрог — из жаркой комнаты вывалился в этот февральский буран. Снежная крупка хлестко била в незащищенное лицо, попадала за ворот. В избах ни огонька, словно все вымерло. Поздно. Да керосин берегут, где его теперь возьмешь? Потому лампы без нужды не жгут. Даже ужинают в темноте или при лучине — ложку мимо рта не пронесешь. Поедят и в постель. Долго не спят, мудруют о жизни, какая она все-таки будет? Не раз помянут Швейкина, Баланцова и всех других. Одни с надеждой, другие с ненавистью.

Собаки воют. Жить трудно, а собак развели прорву: чуть не в каждом дворе. Собака — она бессловесная зверюга, а в беде надежная, хозяина не бросит.

Торопится Борис Евгеньевич домой, еще не остывший от споров. Завершает их вот сейчас, один на один. Идет через Базарную площадь, мимо непривычно притихшего завода, а потому вроде чужого. Скоро Нижегородская, только добежать до угла, а там останется ничего — один околоток. В тот момент, когда Швейкин приблизился к угловому дому, за спиной что-то гулко хлопнуло, словно из бутылки пробку высадило. И только когда над головой пискнула пуля, Швейкин понял: в него стреляли. Запоздало пригнулся. Гляди-ко! Прав Мыларщиков — без револьвера в такую глухую пору, ой, как неуютно, и беззащитно. Черная тень метнулась влево, к Большой улице. Ударил еще один выстрел, потом еще. За тенью, которая бросилась к Большой улице, от завода метнулась другая. Похоже, что перестрелку они затеяли между собой.

Борис Евгеньевич прижался к темным воротам углового дома, нащупал в кармане револьвер и, взведя курок, стал ждать. Даже охота взяла померяться силами. Знакомое состояние. В шестом году в марте в Крутых берегах устроили ночью собрание. Ждали казаков. Тогда у Бориса тоже револьвер был, у Маркела Мокичева — самодельная бомба. Настроение азартное — сунулись бы казачки, узнали бы почем фунт лиха! Но не сунулись.

На Большой улице выстрелили еще два раза и все стихло. И тут поднялся невообразимый собачий лай. Борис Евгеньевич услышал чьи-то торопливые шаги. Кто бы это? Только не тот, который в него стрелял. Тот в открытую не пошел бы. Когда человек поравнялся с воротами, Борис Евгеньевич властно приказал:

— Стоять!

Человек остановился и спросил:

— Это вы, товарищ Швейкин?

— Угадал. А ты кто?

— Дайбов я, Кузьма. Из литейки.

— А что ты тут делаешь?

— Да вот... За вами шел... Михаил Иваныч приставил к вам. Гляди, говорит, Кузьма, чтоб и волос не упал с головы товарища Швейкина. Не то душу из тебя вытрясу.

— А что, и вытрясет,— усмехнулся Борис Евгеньевич, представив всегда решительного Мыларщикова.— За кем же ты гнался сейчас?

— Какой-то субчик за вами увязался с Базарной площади. А вы бы хоть оглянулись разок! Увидел меня и пальнул в вас издалека, а то бы попал небось. Ну я в него. Он бежать. Не догнал. Хромой, хромой, а припустился — не догонишь. Упомнил: в шинели и папахе.

— Может, ты его и подстрелил?

— Не-е, он сразу прихрамывал.

— Спасибо, Кузьма, а сейчас спать. У меня ведь то-

же защита есть. Видишь? — Швейкин вынул из кармана револьвер.— И стрелять я умею. Дойду теперь один, не бойся.

— Мне ведь все равно в вашу сторону, к станции.

Они попрощались у ворот дома Швейкина. Борис Евгеньевич пожал жесткую сильную руку Кузьмы и глядел вослед до тех пор, пока его фигура не растворилась в темноте.

Беспроигрышная перспектива

Аркадий Михайлович Ерошкин коренной кыштымец, отец у него был мелким лавочником. Скопил капиталец да выучил единственного сына на инженера. Работал молодой инженер в главной конторе Кыштымского горного округа.

Он старался не выделяться от своих земляков.

Кыштымцы как одеваются? Попросту. Шаровары, рубаха навыпуск, чаще с косым глухим воротником. По весне и осени тужурку на вате, зимой полушубок или борчатка. На ногах сапоги, а зимой валенки, пимы поздешнему. Растопчет кыштымец новые валенки, а потом и подошьет их — новые подошвы сделает. Вот тебе и пимы — и тепло, и износу нет. В последнее время молодежь стала носить боты.

Ерошкин, когда вернулся из Петербурга, переоделся на кыштымский лад и ничем не отличался от других. Разве что тростью. Зачем она ему — никто не знал. Дивились поначалу. Идет в борчатке, в пимах, а в руке трость, изящная такая, с замысловатой резьбой по стану. Дед Микита с клюшкой, так тут все ясно. Старость к земле клонит. Но зачем Ерошкину трость? Ко всему люди привыкают, привыкли и к причуде сына лавочника.

А после революции Аркадий Михайлович вдруг изме-

нился. Забросил борчатку, спрятал пимы и шапку из зайца русака. Вырядился в новое из черного драпа пальто с каракулевым воротником, в шапку-лодочку, тоже из каракуля, и боты. От прежнего Ерошкина осталась одна тросточка. Оделся как Швейкин. Только Борис Евгеньевич носил свою одежду по-будничному, а Ерошкин — франтовато.

А когда избирали Центральный деловой совет, то вдруг выяснилось, что Ерошкин принадлежит к партии левых эсеров. Так он и прошел в деловой совет. И еще был он председателем союза служащих. А союз этот имел в округе определенный вес. Деньжата водились. Откуда? Конечно, поступали взносы от служащих, но крохи же! Злые языки плели, будто союз получил крупный куш от акционерного общества, именно в тот момент, когда вышел декрет о национализации, а главная контора округа была ликвидирована. Поэтому кому, как не бывшему управителю Верхнего завода господину Ордынскому было знать, откуда появились у союза деньги, сам, наверно, посредничал в свое время. Чему же удивляться, если он однажды утром деликатно постучался в комнату Ерошкина.

Делами Аркадий Михайлович обременен не был, на досуге читал книги, особенно любил про сыщиков — Шерлока Холмса и Ната Пинкертона. Книгу прятал в ящик стола. Оставался один, открывал ящик и читал. На столе лежали всякие деловые бумаги, в чернильнице торчит деревянная ручка. Заслышав в коридоре шаги, Аркадий Михайлович задвигал ящик и принимался с озабоченным видом перебирать бумаги. Так было и сейчас, когда постучал Ордынский.

— Входите, входите,— разрешил Ерошкин, еще не зная, кого впускает. Дверь скрипнула, и Аркадий Михайлович на секунду лишился дара речи. Глазам своим не поверил. Ордынский мягко осведомился:

— Не помешал?

Наконец Ерошкин пришел в себя и, воскликнув:

— Ну какой разговор! — бросился к нежданному гостю. Они обнялись, как старые друзья. Почувствовав тонкий аромат французских духов, Ерошкин от удовольствия зажмурился и подумал, что Николай Васильевич, несмотря на превратности судьбы, остался аристократом. Вот что значит голубая кровь! И одет в поношенное пальто, и пимы на нем старые — раньше бы он ни за что их не надел! А поди-ка ты! Даже в такой плебейской одежде можно без труда распознать человека воспитанного и образованного. И усы не забыл нафабрить. На кончиках они кокетливо свернулись в полуколечко.

Ерошкин усадил гостя на стул, приблизил свой, чтоб стол не разъединял их.

— Разрешите узнать — давно в Кыштыме?

— Третий день. Еле тебя нашел.

— Да, живем на отшибе, в тесноте.

— На отшибе — это, пожалуй, в наше время удобно. В глаза меньше бросается. И наблюдать лучше.

— В этом смысле, конечно.

— Товарищи не тревожат?

— Нет... То есть иногда по мелочам.

— Мелочи не в счет. Не удивляйся, Аркадий м-м...

— Михайлович.

— Не удивляйся, Аркадий Михайлович, тревожусь исключительно ради вашего благополучия. Моя персона,— печально улыбнулся Ордынский, и левый усик приподнялся вверх,— для теперешнего Кыштыма несколько одиозна, что ли. Вызывает нездоровый интерес.

— Не извольте беспокоиться, Николай Васильевич,— поспешил успокоить его Ерошкин.— Мы независимы. Со мной можете быть откровенны.

— Благодарю. Верхний завод произвел на меня тягостное впечатление. Дух разложения витает над всем, некоторые цехи в совершеннейшем запустении, возьмите хотя бы домну.

— К сожалению,— вздохнул Ерошкин. Подумал: «Куда же он клонит? Не за этим же пришел. Я и без его вздохов знаю, в каком положении заводы». Спросил вкрадчиво:

— Позвольте спросить, а как там? — он глазами выразительно повел на потолок. Николай Васильевич вытащил из кармана гаванскую сигару, поднес ко рту, осведомившись:

— Не возражаешь?

— Ради бога!

Ордынский прикурил, выпустил изо рта сизую струйку дыма. Сказал:

— Времена наступили тяжелые. Верить никому нельзя. Тебя, разумеется, не имею в виду. Сюда я прибыл по пустяковому поводу. Новая власть не берет меня на службу из-за моего прошлого. Я могу прожить и без службы, но согласитесь, нельзя товарищам мозолить глаза бездельем,— Ордынский снова затянулся дымом, выпустил колечко и, наблюдая, как оно тает, продолжал:

— Я всегда считал, что хорошо понимаю кыштымца. Крепкий хозяин, исправный рабочий. Когда надо, подкинь лишнюю копейку — горы свернет. Переплатишь, зато вдесятеро потом возьмешь.

— Согласен с вами.

— Нет, милейший, все гораздо сложнее. Кыштымец — себе на уме. Завод наполовину стоит, жрать, извини, нечего, а он на Советы, как на икону, молится. Странно! Я с безобидной просьбой обратился — поставить подписи. Хамье!

Ордынский брезгливо поморщился.

— В литейке некий Ичев работает, я давно приметил его, хотел в свое время мастером выдвинуть. Так он меня нынче взашей из цеха... Сегодня верх у этого сброда. Над Россией нависла тьма. И мы погибнем, если располземся в разные стороны. Я тебе доверяю, Аркадий Михайлович, иначе не зашел бы. Каждый на своем месте

должен приносить максимум пользы святому делу. Большевики такие же смертельные враги мне, как и тебе, враги всей цивилизации.

— Согласен,— прошептал Ерошкин. Конечно же, враги. Его лихорадит при одном упоминании имени Баланцова. Он готов на первой сосне вздернуть каторжника Швейкина. Они его презирают, хотят обойтись без него. Неужели он, Ерошкин, дипломированный инженер, хуже бы этого безграмотного слесаришки справился с заводом?

— Декрет комиссаров о национализации Кыштымских заводов не имеет законной силы. Лондон не потерял перспективы на них, заводы были и остались собственностью акционеров, это лишь вопрос времени. Надеюсь, ты меня понимаешь?

— Вполне! — отозвался Ерошкин, хотя фраза «Лондон не потерял перспективу на них» прозвучала несколько туманно. Требовались пояснения, и Ордынский не замедлил с ними.

— Предположим два варианта. Первый и самый надежный: большевики долго у власти не удержатся, самое большее до лета. И все вернется на круги своя. И второй: большевики удержатся. Но им заводы не поднять.

— Не поднять! — эхом повторил Ерошкин.

— Уркварт вынашивает идею и на этот запасной случай — просить заводы в концессию. При удобном моменте он выдвинет ее перед правительством Ленина. Наше дело беспроигрышное. Но нам важно иметь здесь своего человека, который бы все видел и все замечал. И помогал, разумеется.

Да, Ерошкин про себя радовался. Поглядим, что будет с товарищем Швейкиным и всей его шатией-братией! Николай Васильевич Ордынский — это вам не голь перекатная. У него крепкие связи в Екатеринбурге и в самом Питере. У него и в Лондоне рука. Ерошкина он неспроста нашел, он верит ему. А дело и впрямь беспроигрыш-

ное. Кто, Гришка Баланцов будет Верхний от разрухи поднимать? Или Митька Тимонин, восседая в Центральном деловом совете, округ от экономической немощи вылечит? Нет, не обойтись им без господина Уркварта!

Бесцеремонный стук в дверь вывел Ерошкина из приятных размышлений. Гость быстро потушил сигару и спрятал в карман пальто. Дверь распахнулась, и в комнату шагнул Михаил Мыларщиков, в тужурке, перепоясанной ремнем, с револьвером на боку. И сразу стало тесно.

— Здрасте! — сказал он насмешливо.— Застал-таки.

— Простите, но я занят,— срывающимся голосом произнес Ерошкин, поднимаясь.— У меня посетитель.

Ордынский остро глянул на Ерошкина — побоялся, что тот может сорваться. Николай Васильевич стряхнул пепел с пальто и тоже встал.

— Гражданин Ордынский? — нацелился настырным взглядом на него Мыларщиков.

— Что вам угодно? — Ордынский глянул на Михаила Ивановича свысока.

— Нехорошо, гражданин Ордынский, шибко нехорошо. Приехали в Кыштым, никому не сказались. Ходите по заводу, никому не представились. Не старые же времена, нельзя так. Суток хватит вам, чтобы покинуть Кыштым? Али мало?

— Воля ваша. Но я, как свободный гражданин, полагал...

— Зря полагали. Свободный гражданин должен вести себя прилично. А вы, гражданин Ордынский, ведете себя не ахти как, рабочих вот смущаете. И вообще...

— Товарищ Мыларщиков, здесь Союз служащих и хозяин в нем пока я. А вы врываетесь беспардонно, прерываете нашу беседу... Это что ж, по вашим понятиям, шибко прилично? — Ерошкин умышленно сделал ударение на слове «шибко».

— Эх, товарищ Ерошкин, чья бы корова мычала...

— Га-алантно,— развел руками Аркадий Михайлович, усмехаясь.

Мыларщиков повернулся к Ордынскому:

— Пока предупредил, мотайте на ус,— круто повернулся и вышел, хлопнув дверью. Ордынский трясущимися руками застегнул пуговицы, надел шапку.

— Меня эти хамские выходки уже не удивляют,— сказал он спокойно, хотя Ерошкин-то видел, какой ценой дается ему это спокойствие.— Парадоксально было бы другое! Я и без предупреждения рассчитывал сегодня выехать в Екатеринбург. Тебя прошу об одном — не забудь нашего разговора. Не исключено, что от меня будет посланец. Так ты уж, голубчик, постарайся. Это никогда не забудется.

— Ради бога извините за это хамское вторжение...

— Ничего, ничего. Ты тут ни при чем.

После ухода Ордынского Ерошкин откинулся на спинку стула. Блаженно улыбался. Даже Мыларщиков не смог испортить ему настроение. Будет еще этот хам на коленях перед ним ползать, а он его раздавит, как мокрицу. Эх, когда же наступят те благословенные времена? Какую, интересно, должность припасут ему хозяева? Управителя? А что? Ордынский на эту должность не вернется, выше полезет. Главное — перспектива-то беспроигрышная. Падут большевики — вернутся старые хозяева. Большевики удержатся — все равно будут старые хозяева-акционеры. Ерошкин в любом случае в выигрыше.

Хорошо, видит бог, как хорошо!

Между небом и землей

Сериковы все время гадали-думали, как им жить. Иван побывал на Верхнем заводе, пошатался по полупустым цехам. Работы не было. Алексей Савельевич Ичев,

увидев Ивана, обрадовался, словно родному. Поговорили о том о сем, боясь коснуться главного — работы. А когда коснулись, Савельич потускнел, заметнее сгорбился.

— Робим,— неопределенно сказал он.— А для чего? Чугун во дворе копится. Кому нужен? Я, почитай, жалованья не получал месяца три.

— И робите?

— Пошто же не робить? Образуется. Наши из делового совета в Катеринбург поехали. Может, что-нибудь вырешат. Хотя Швейкин говорит — на Урале скрозь картина такая.

— Худо,— почесал затылок Иван.

— Наведывайся, на примете буду держать.

Заглянул Сериков и на биржу труда. Вот ведь как — отродясь не было в Кыштыме такой конторы, а возникла. Порядка в ней еще установить не успели. Но народ толпится. Собирался зайти в Совет, да раздумал. Какой толк? Будут агитировать в Красную гвардию, Мыларщиков уже предлагал. А ему винтовка опостылела, как злая мачеха. Завернул ее в худой половик и спрятал в подполе. Пить, есть не просит.

Сидят вечером Иван да Глаша. Сумерничают, огня не зажигают. Тягучую думу думают. Ходики уныло чакают, их только и слышно.

— Была бы лошаденка,— вздыхает Иван,— чего бы голову ломать. Прожили бы как-нибудь.

Глаша ежится, зябко ей. Не от холода, от трудных мыслей. Ей даже показалось, что Иван упрекнул ее за то, что не сберегла Пеганку, продала за два мешка муки Батятину. Не продала бы, сама ноги протянула. Малость продешевила, но что поделаешь? Луку сам черт вокруг пальца не окрутит.

Иван понял, что вздох его прозвучал укором. Притянул жену за плечи:

— Дуреха! Не принимай близко к сердцу.

— Я и не принимаю,— прошептала Глаша.

— Не пойти ли на динамитный?

— Окстись! — испуганно отпрянула Глаша.— Сторожить динамит?

— Зато деньги будут.

— Не пущу! Пропади они пропадом, эти деньги. Летось там так грохнуло, мать святая богородица! А сторожа прямо в дым разнесло. А ну кто нарошно придет взрывать? И не углядишь.

Не торопились Сериковы ложиться. И куда торопиться? Впереди целая глухая ночь. Кто-то постучал. Лука Батятин, сосед. Иван еще не виделся с ним. Хотел наведаться, на Пеганку взглянуть — с жеребеночка же вынянчил, да побоялся. Увидит Пеганку и не стерпит. Нет, с кулаками не полез бы, кулаками вспять события не повернешь. Злых слез страшился. Подступят комом к горлу, не удержишь. Надеялся — найдет работу, а уж там как-нибудь выпрыгнет из нужды. Надежда надеждой, а Буренка последний клок сена доедала.

Батятин тоже не спешил навестить солдата. И все же по нонешним временам таким человеком пренебрегать не следует. В случае чего — защита. Выдержку сделал и вот пришел. Глаша лампу кинулась зажигать. Иван навстречу поднялся.

— С возвращением, соседушка,— расплылся в улыбке Батятин, обеими руками потряс его руку.

— Раздевайтесь и проходите в горницу, Лука Самсоныч,— пригласил Иван и помог снять полушубок. Новенький, еще овечьим духом несет от него.

— Держи-ка! — протянул Батятин бутылку.— Царская!

— Зачем же вы, Лука Самсоныч?

— Для порядку. Мы ее по-соседски и осушим,— руки потер, предвкушая удовольствие.

Висячая трехлинейная лампа бросала свет на круглый стол, а по углам таился сумрак. На окнах ситцевые

задергушки — руки у Глаши обиходливые. Уж на что задергушки старенькие, но она так их ловко приладила — уютно! Старая деревянная кровать, облезлый комод — глашино приданое. Кровать застелена со вкусом, ишь подушки-то как горделиво высятся. На комоде кружевная накидка, вазочка посредине с бумажными цветами. Круглый стол все четыре года стоял сиротливо: Глаша обходилась кухонным. Батятина усадила за этот стол. Напротив устроился Иван. Глаша хлопотала на кухне — готовила закуску. Картошку сварили прямо в мундирах еще до прихода Луки. Хороша она с капусткой! После чаем запьешь, ничего лучшего и нет!

Мужики первую минуту приглядывались друг к другу. Ишь Луку-то на полноту потянуло — брюшко сквозь ситцевую рубашку пучится, а жилетку на последние пуговицы и застегнуть не мог. Стрижен под горшок. Кержак и кержак. Те ведь как стригутся? Накроют голову горшком и все, что не прикрылось, остригают. Здоров бугай, ничего не скажешь. А Иван против Луки былинка. Сухопарый, скуластый, подстрижен по-солдатски накоротко. У рта — складки скобочками. Старят Ивана. А глаза... Лука внутренне содрогнулся и невольно подумал: «Настырные. Видать, много убивал на войне-то. Убивал, варнак. На узенькой дорожке встретишь — душу вытрясет. И его не иначе — убивали. Да выжил вот. Ну и Ваньша Сериков, сосед ты мне, а ухо с тобой держи остро. Лучше тебя в приятелях иметь, нежели во врагах. А был теленочком, когда в солдаты забирали, за Гланькин подол цеплялся».

— Вижу, нахлебался всякого большой ложкой,— сказал Лука, не выдержав пристального Иванова взгляда.

— Во! — провел над макушкой ладонью Иван.

— Где бывал-то?

— Лучше спроси, где не бывал. И в огне жарился, и в воде тонул, и в крови захлебывался, и со смертью на кулачках бился.

— А мы тут живем и не ведаем, какие страхи на божьем свете случаются. Слава богу, кончились твои мытарства.

Над столом то и дело мелькали Глашины руки — проворна! Да как-то все ладно у нее получается. Лука и глазом не успел моргнуть, а на столе закуска появилась, бутылка водки поблескивает белой сургучной головкой. Раскраснелась хозяйка-то. Рада — муженек вернулся. Ждала. Луку к себе не подпускала, а как он к ней примазывался!

— Глань, плесни водицы попрохладней,— попросил Лука.

— А вы брусничным рассольчиком.

— Привык грешную запивать холодной водой.

Иван налил по-солдатски — по полной чашке. Чуть налил и Глаше, хотя она и отказывалась. Лука сказал, что непременно надо выпить за служивого, за его счастливое возвращение. Иван чашку осушил залпом и, морщась, занюхал хлебом. Лука свою сосал долго, закрыв глаза со страдальческой гримасой. Когда кончил, шумно выдохнул воздух и принялся цедить сквозь зубы холодную воду. Потом отправил в рот соленый груздь. Глаша пить боялась, мутил сивушный запах. Иван глядел на нее ласково и просительно. Она поднесла чашку ко рту и отпрянула. Лука развел руками — как можно не выпить за возвращение солдата? И она выпила. Из глаз ее выступили слезы, и она зачем-то начала отмахиваться. Иван, смеясь, тянул ей гриб на вилке с деревянной ручкой. Не водка, а огонь. Согрела. Души размягчила, языки развязала. Лука жалился:

— Митрич, ты, поди, завидуешь мне? Домина такой, полон двор живности и еще волкодава держу. Завидуешь, а?

— Завистью жить — радости мало, Лука Самсоныч. Она ведь черная, зависть-то.

— Верно! Намедни ко мне мальчонка из Совета при-

бегал — гумагу принес. Налогу с меня полтыщи целковых!

— Господи! — зажала ладонями щеки Глаша. — В жисть не видела таких денег!

— Ты, Митрич, скажи — где я их должен взять? На разбой податься? С кистенем на большую дорогу? Да кого теперь там встретишь? Голодранца али безногого солдата. Давай еще по маленькой.

— Давай.

Усердно хрустели солеными грибами. Лука облизывался, не выдержал — похвалил Глашу за ядреный посол. Его старуха тоже грибы солит, но ведь как? Слизняки, а не грибы. Их только в суп, а на закуску не идут. Продолжал жалиться:

— Так я же не купец. Что вырастил, то и съел. Откуда у меня целковым быть? Работников сроду не держал. Коли кто по-соседски поможет, так рази это зазорно? Вот ты кликнешь меня — Лука, пособи, к примеру, избенку перетрясти. Рази не приду? Приду. И ты придешь.

Иван остановил на соседе хмельной взгляд. Осмелел, сказал без обиняков:

— Тогда помоги мне, Лука Самсоныч.

Батятин вскинул на Серикова масленые глаза. Чего это захотелось Ваньке? Хорошо, если у него просьба, ну а если просьбища? И выполнить придется и выполнить будет трудно. Не лишнего ли что сболтнул?

Глаша захмелела, блаженно улыбалась, прижавшись к мужу и держась за его руку. Ей все хотелось ущипнуть себя — не во сне ли это? Неужели наяву — и Иван, и Лука, и бутылка водки? Ах, боже мой, если это сон, то продли ты его до бесконечности. Это о чем они? Почему замолчали? И Иван смотрит волком. А Лука настороженно глазки сощурил.

— Говори, говори, не боись,— наконец поощрил Лука.

— Одолжи сена, сосед. Да Пеганку за дровишками. Сочтусь.

Лука вроде бы отмяк: «Пронесло. Так, просьба. Не обременительная. Только не надо спешить с ответом, чтоб понял Ванька — от живого отрываю, но что не сделаешь для соседа...» Посопел, выдул чашку холодной воды.

— Пошто же не помочь? — проговорил он. — Завсегда рад. Мое слово такое. В Урале застоялся зарод сена. Не вывез с осени, а там руки не дошли. Бери Пеганку и вези себе.

— Заметано,— обрадовался Иван. — А сколько в зароде?

Глаша глаза широко открыла — ой, как хорошо-то! Она же верила: Лука Самсоныч выручит.

— Воза два наберется. Вывезешь, можешь съездить за сухарником, его возле Сугомакской горы много.

— Вы такой добрый. Вы и меня всегда выручали, без Ивана-то.

— А плата? — упрямо помотал головой Сериков.

— Не боись, дорого не возьму,— впервые за весь вечер улыбнулся Батятин. — Уговор такой: по весне на заимке поможете. Не тяжко?

— И на том спасибо,— ответил Иван. Допили царскую водку, и Лука Самсоныч, благодетель их, отправился домой. Когда они остались одни, Глаша снизу вверх посмотрела на мужа, с таким это наивным недоумением, и спросила:

— Вань, ты чем-то недоволен?

А ему своя дума докучала, трудная и цепкая, потому он и не услышал, о чем спросила жена. Она обеспокоенно подергала его за рукав гимнастерки:

— Да чо с тобой, Вань?

— Наел бычью шею, Лука-то,— отвечая своим мыслям, проговорил Иван. — Ишь как раздобрел. Только что делать — придется совать голову в Лукашкин хомут.

Ладно, не расстраивайся, Глашенька,— он притянул ее к себе.— Живы будем — не помрем. А за сеном я, ужо, завтра и поеду.

Иван собрался за сеном, а дома не оказалось и краюшки хлеба. Но Иван загорелся, готов был ехать и без хлеба. Тогда Глаша накинула шубейку и шаль, побежала к Тоне Мыларщиковой — авось одолжит полкаравая. Бежала через улицу к Мыларщиковым и легко было на душе. Слава богу, и у нее теперь будет как у людей. Иван рядом. Хлеба заробит, сена Буренке привезет и другие дела устроит.

У Мыларщиковых спозаранку топилась русская печь. Сухие березовые поленья горели с треском, в избе качался трепетный красноватый свет.

Когда Глаша пришла, Михаил Иванович на лавке возле окна пришивал кожаный запятник к детскому валенку. Тоня на суднице деловито раскатывала тесто, поглядывая в печь — там чернел чугунок со щами, варить недавно поставила. Но вот обтерла руки о фартук, оттолкнула ухватом чугунок со щами. Ухватом же подхватила другой чугунок, стоявший на лавке, и сунула его в жаркое нутро печки. Глаша подумала, что Назарка с Васяткой еще спят. Да нет, на полати забрались, только рыжие головы торчат.

— Тонь, у тебя, часом, хлеба нет? Сама-то я только собралась стряпать.

— Много тебе?

— Чего там — полкраюшки дашь и ладно.

— Куда с хлебом-то? — поинтересовался Михаил Иванович.

— Ваня в Урал собрался — за сеном.

— За сеном? — удивился Мыларщиков, валенок положил на лавку. — За каким таким сеном?

— Для Буренки.

— Вот новое дело — поп с гармонью! Откудова оно у вас появилось?

— У Луки с осени на покосе зарод остался. Говорит, возьмите Пеганку и везите — ваше будет.

— Фью! — присвистнул Мыларщиков, берясь за кисет. — С какой же стати Лука так расщедрился?

Тоня делала свое дело, но в оба уха слушала. Настырность мужа ей не понравилась. Вмешалась:

— Ну чо к бабе пристал? Отдал и все. Может, оно пропадало, сено-то. Вот и сделал добро.

— Лукашка? Добро? — усмехнулся Михаил Иванович. — Уморили вы меня. Скорее окунь заговорит человечьим голосом, чем Лука сделает добро без умысла.

— Не говорите такое, Михаил Иванович. Лука-то одно лишь попросил — весной на заимке ему подмогнуть. Почему не пособить? Съездим на денек-другой с Ваней, от нас не убудет.

— Валяйте! Испробуйте Лукашкиной доброты.

Михаил Иванович подошел к печке, ухватом выкатил из самого жару красный уголек на загнетку, прикурил от него. Глаша невольно отметила — Михаил-то прямо огневой!

— Куда же нам деваться? На работу Ивана не берут. Без куска-то хлеба и зубы на полку.

— Иван-то знает, куда податься, да не хочет. Потом сам прибежит да поздно будет.

— Не слушай ты его, Глаша. Смаялась я с ним — дома не живет, а гостит только. Сегодня к утру заявился. Видишь, ребятишкам пимы подшить некогда. Чинит, а сам поглядывает, как бы убежать.

— Бабы вы и есть бабы. Ум у вас бабий. Дальше носа ничего не видите. А заглянули бы дальше, так спасибо нам сказали бы.

— Это за что же? — вскинулась Тоня, поставив в угол ухват. Подошла к мужу, уткнула руки в боки и насмешливо уставилась на него. Под ситцевым фартуком заметно круглился живот. Глаша даже про себя ахнула — да ведь Тонька опять тяжелая ходит! В такое-то

время! Ох, отпетая голова! Не торопилась бы с третьим-то. Нянчилась бы пока с двумя. Девочку бы им, а? И не рыжую, а русокудрую, как Тоня.

— Отныне власть — мы! — сказал Михаил Иванович. — Рабочий народ. А они,— он кивнул на сыновей,— будут в новой жизни жить. И мы с тобой прихватим новой жизни. Малость, но прихватим.

— Твои бы слова да богу в уши. А то ведь поубивают вас — ни старой, ни новой жизни не увидите.

— Руки коротки!

— Храбрый! Ты слыхала, Глань, Николая Горелова убили!

— Не слыхала.

— Из Катеринбурга везут, гроб-то. Похороны будут.

— Господи, за что же его?

— Дочка какого-то богача из револьвера. Намедни в Швейкина стреляли. Моему тоже грозятся рыжую голову напрочь оторвать. А они хоть бы хны! Ты хоть бы детей пожалел, рыжий черт!

— Мать, слышь, пишет на фронт сыну: мол, побереги себя. Пуля — она дура. Сын ей в ответ: а чо, грит, пуля? В рот залетит — проглочу. В лоб ударится — отскочит: он у меня медный.

— Не болтай,— поморщилась Тоня.

— Я и не болтаю. Контру угробим, это как пить дать. Постреляем, понятно, немного, не без этого. И давай не будем спорить при несмышленых детях. Они ишь рты-то поразевали. Закройте рты-то, а то воробей залетит!

— Не залетит,— степенно ответил Назарка. — Тять, а тять, возьми нас с собой контру бить!

— Во, видишь! — воскликнул Михаил Иванович, обращаясь к жене. — А ты загрустила!

— Тебя не переговоришь,— Тоня отрезала полкаравая. Глаша завернула его в белую тряпицу, прихваченную из дома. Поблагодарила хозяев и уже открыла дверь, когда Тоня предложила:

— Глань, сходим на станцию-то, поглядим, когда Горелова привезут?

— Право, не знаю...

— Сходите, сходите,— поддержал Михаил Иванович. — Там половина Кыштыма соберется.

— И мы пойдем! — закричали Назарка и Васятка.

Но мать осадила их:

— Без вас обойдемся!

Глаша торопилась от Мыларщиковых, и уже не было у нее легкого настроения. Горелова убили. В Швейкина стреляли. Михаил вот по ночам где-то пропадает. Случись что, куда же денется Тонька с двоими, а потом и с третьим? Матерь божия, что же это творится на белом свете? Убивают и убивают друг друга, конца края не видно. Михаил еще Ваню сманивает. Нет уж!

Если бы ведала Глаша, какая тоска сдавила горло Ивана, когда он увидел Пеганку. Вспомнил, как появился у них Пеганка. Отец тогда в лесу был с Буланкой. Она там и ожеребилась. Принесла такого забавного пегонького попрыгунчика. Увидел Иван рядом с Буланкой маленькую коняшку и обрадовался. Тот ткнулся в Иванову грудь, бестолковый и доверчивый. Вырос Пеганка. Запряженный в кошеву, он привез Ивана и Глашу из церкви после венчания. На нем возили крестить Дашеньку... А в летние комариные ночи на покосе Иван, бывало, повесит на Пеганку ботало, стреножит и пустит пастись. Сам спит вполуха. Нет-нет да поднимет голову — прислушается. Ботало потихонечку побрякивает, значит, все в порядке. Ни худой человек, ни лесной зверь не тронул Пеганку...

Лука сует Серикову узду — запрягай. Пеганка хрупает овес, не узнает прежнего хозяина. А тот запряг конягу в дровни, вывел на улицу, к своим воротам. Свою кровную взаймы взял за сеном да за дровами съездить!

Тут и Глаша подбежала с хлебом. Лука хлопнул калиткой, ушел к себе. Глаша мужу что-то говорила, а он

про себя спорил с Лукой. Перезанять бы у кого-нибудь два мешка муки да вернуть Батятину. На тебе свое, отдай мне мое. Только где возьмешь? У кого и есть не даст — на черный день бережет. Он не за горами, этот черный день. Уже стучится во многие двери. Так что езжай, Иван, за сеном и не трави понапрасну душу свою, все равно не поможешь.

— Да ладно ли с тобой, Вань? Чо ты такой смурной? Может, не поедешь сегодня?

— Пошто же?

— Горелова хоронить будут.

— Кого, кого? — вскинул брови Иван.

— Горелова. Михаил Иванович сказывал.

— Хлеб-то принесла?

Она протянула ему хлеб, завернутый в белую тряпицу, с еще не потухшей надеждой спросила:

— Может, завтра, а?

— Да ну тебя! Чего откладывать-то?

Поверх шинели напялил тулуп, который одолжил все тот же Лука, грузно завалился в сани. Глаше стало грустно-грустно, будто опять провожала надолго. Прижала руки к груди, слезы из глаз потекли к подбородку, она их слизнула языком.

— Дуреха, чего ты раскисла? — улыбнулся Иван. — До вечера! Да картошки в мундире поболе навари.

Похороны Горелова

На станцию Тоня и Глаша явились к приходу поезда. На перроне, у здания станции, возле медных труб и барабана, которые лежали на земле, топтались музыканты. За ними грудились красногвардейцы, одетые кто во что горазд — шинели, тужурки, пальто. У каждого за спиной винтовка без штыка, либо бердана-дробовик. Около пу-

тей стояло несколько человек, на них-то и обратила внимание Глаша. Молодая девушка в черной шали с печальным лицом поддерживала под локоть старушку, тоже в черной шали. Старушка то и дело подносила к глазам платок.

— Мать, поди? — спросила Глаша.

— Мать,— подтвердила Тоня.— И дочь. Сестра Горелова.

— А рядом кто, в полушубке-то?

— Баланцов.

— Самый Баланцов и есть? Я думала богатырь, а он невидный такой. А который Швейкин?

— Вишь в черном пальто с каракулевым воротником, в шапке-лодочке?

— Представительный. И на лицо баской. Жена, поди, тоже писаная красавица.

— Холостой.

— Ну уж и холостой? — не поверила Глаша.

— Молодость-то на каторге сгубил. А Горелов женатый был, дочурка у него осталась. А рядом с ним, который горбоносый, приметила? Рядом со Швейкиным-то?

— Приметила.

— Это Дукат.

Глаша покосилась на Тоню — губы у нее пухлые, а подбородок упрямый. И брови вразлет. Все-то она знает. Вроде с детишками возится день-деньской — когда только успевает?

Со стороны Егозы плыли черные тучи, падал снежок. Пробирала зябкая дрожь. От дежурного по станции вышел Сашка Рожков, давнишний знакомый Сериковых. Крестный отец Дашеньки. Серьезный, озабоченный. Вскинул глаза, приметил Глашу.

— А, кума! — сказал он, обрадованный встречей. — Сказывают, Иван вернулся!

— Слава богу!

— Ходите в гости!

Рожков заторопился к красногвардейцам. Пальто подпоясано ремнем, а на ремне револьвер в кобуре. Следом за ним из той же комнаты вышел Михаил Мыларщиков, мимоходом взглянул на жену, не выражая ни малейшего желания подойти, будто она ему чужая. Направился туда, где стоял Швейкин. Тоже при ремне и револьвере. Какие-то они не похожие на себя сегодня, суровые. Наконец выглянул дежурный по станции в фуражке с красным верхом, задрал голову, осматривая тяжелые серые тучи, и нехотя дернул веревку. Колокол испуганно вздрогнул и издал дребезжащий звук, от которого у Глаши засосало под ложечкой.

И все пришли в движение. Музыканты расхватали инструменты и выстроились в положенном порядке. Сашка Рожков зычно подал команду строиться, и красногвардейцы поспешно образовали две шеренги. Сашка вывел их к путям и развернул вдоль перрона. Баланцов подхватил под руки мать Горелова. С другой стороны поддерживала ее дочь. Взгляды всех устремились налево, в сторону Егозы. Оттуда из-за поворота выплыл черный паровоз, таща за собой состав пассажирских вагонов. Глаша ухватилась за Тонину руку. Наконец поезд остановился. Из вагона выскочили двое в кожаных тужурках и подошли к Швейкину. Створки вагонной двери раскрылись, и Борис Евгеньевич медленно снял шапку-лодочку. Поснимали головные уборы и остальные мужчины, кроме музыкантов и красногвардейцев. Дирижер взмахнул палочкой, и полились скорбные звуки похоронного марша. Они заполнили серый февральский день. Шестеро красногвардейцев приблизились к вагону, чтобы принять гроб. Мать Горелова обессиленно повисла на руках Баланцова и дочери. Ее еще подхватил Дукат. В вагоне что-то замешкались. Но вот красный гроб поплыл над людьми, потом его бережно опустили на скрещенные винтовки. Красногвардейцы уже нагнулись, подхватывая гроб, но какая-то женщина крикнула:

— Ироды! Крышку-то снимите, не заразный же!

Красногвардейцы быстро сняли крышку, и Глаша одним глазом увидела того, кто лежал в гробу. Русые волосы шевелил ветер, снежинки падали на высокий восковой лоб, на лицо с ввалившимися щеками и не таяли. Над верхней губой рыжели усики. Перекрывая стонущую медь оркестра, над толпой забился безысходный крик:

— Коленька-а-а! Родненьки-и-и-й! И чо они с тобой сделали!

Глаша, не выдержав, торопливо выбралась из толпы и побежала прочь, глотая слезы. Тоня за нею. А музыка плакала, билась о низкие стены вокзала, о вагоны, рвалась к серым снеговым тучам, размягчая человеческие души.

Глаша пришла в себя у Мыларщиковых. Тоня отпаивала ее парным молоком.

Тоня! Глаша часто завидовала и восхищалась ее выдержке. Особая она какая-то. Сыновья растут озорниками, но стоит матери сердито на них поглядеть, как они мгновенно становятся смирными. Михаил до войны во хмелю буйный был, в молодости-то. Славился озорством своим, не только в Егозе, а во всем заводе. У Тони, она в девичестве Рожкова была, отец капиталец имел. За Нижним заводом нашел ее отец чудной камень, называли его по местному борзовочным. Из него точила делали, наждак и прочую дерущую штуковину. Смекнул Рожков выгоду и открыл небольшое дело. Его точила и наждак брали многие, даже из других заводов приезжали. Вот и богател исподволь. Справного жениха дочери подглядывал. А Тоня возьми да влюбись в рыжего Мыларщикова —Михаила. А у него какие капиталы? Издавна Мыларщиковы спину гнули на заводах — и отец, и дед, и прадед. Когда иностранцы Нижний завод переоборудовали под электролиз меди, Михаил стал плавильщиком.

Влюбилась Тоня в Михаила, а он в нее. Рожков благословенья не дал, кричал на весь завод: «Прокляну и

предам анафеме!» Тоня, рассказывают, возьми да скажи: «А мне от этого ни жарко ни холодно. Михаила люблю, мне с ним жить, а не тебе!» Отец выгнал ее из дома, вгорячах, конечно. Хлебнет, мол, девка, почем пуд лиха, и с поклоном вернется. Да, видно, плохо знал характер дочери. Осталась она у Михаила в доме.

Глаша с Тоней познакомились после замужества. Да как-то незаметно сильно привязалась к соседке. Особенно после того, как Тоня проучила Пузанова. Когда Дарьюшка померла, сама-то Глаша занемогла, а тут еще Пузанов наорал на нее в три горла, а Тоня узнала об этом. Прямо к Пузанову. Тот отцу-то ее дружком был, целился в пай войти по наждачному делу. Встретил Тоню приветливо, чайком пригласил угоститься, хотя и знал, что с отцом она в ссоре. Это ничего. Родные ссорятся, когда-нибудь да помирятся. Тоня свела туго брови, глазами сверкнула и говорит:

— Что ж ты, Пузан несчастный, издеваешься над Гланькой Сериковой? Да я тебе за нее глаза твои бесстыжие выцарапаю!

Пузанов от неожиданности опешил, а потом побагровел, а она баба не из пугливых:

— Я тебя предупредила. Попомни мои слова!

Пузанова чуть родимчик не хватил. Злые языки потом судачили, все косточки Тоне перемыли за то, что против воли отца пошла (вспомнили), и что рыжего хулигана в мужья выбрала, что Пузанова перепугала насмерть. Приплели, что было и чего не было. Тоня только посмеивалась. А Глаша-то знала, какая она добрая и щедрая, если к ней по-хорошему, как она любит своего Михаила, хотя и поругивает его. Но любя же! Об этом сейчас и вспомнила Глаша, придя в себя. Да так хорошо ей стало, что расхрабрилась и спросила:

— Тонь, а на кладбище сходим?

— Так его же на Базарной площади хоронить будут!

Прибыли рановато. Еще шло отпевание в церкви. Но

народ уже собирался на Базарную площадь — центр Верхнего завода. Здесь стоял памятник Александру II, возле которого и решено было похоронить Николая Горелова.

Стекался на Базарную площадь народ. Кто с истинной скорбью в сердце и таких было большинство, кто из обывательского любопытства. А кто пришел позлорадствовать и поехидничать втихомолку.

Тоня и Глаша, понимая, что народу набьется видимо-невидимо, облюбовали себе место возле углового дома. Здесь, к глухой стене, выходящей на площадь, были привалены бревна, уже почерневшие от времени. Женщины вскарабкались на них, и было им видно отсюда все. И как возле памятника пятеро мужиков закончили рыть могилу и, сложив кайла и лопаты на желтоватую землю привалились к постаменту, дымили самосадом. И как стекались со всех сторон люди — поодиночке и группами, а потом из ворот завода повалила молчаливая толпа рабочих. Невидимые распорядители оттеснили людей от могилы и образовали широкий проход со стороны Каслинского выезда, чтоб пропустить в него похоронную процессию. Наконец издали донеслись звуки духового оркестра.

Народ заволновался, старался протиснуться ближе к могиле, сузить образовавшийся проход.

Но появились красногвардейцы. Они вытянулись цепочкой и сдерживали натиск толпы.

А музыка становилась все слышнее и слышнее. Она одна царила над Верхним Кыштымом.

Вот из-за поворота показалась красная крышка гроба, которую несли на головах два мужика. Потом выплыл гроб, покоившийся на винтовках красногвардейцев. За гробом, поддерживаемая Баланцовым и Дукатом, шла мать Горелова, потом отец, жена, сестра. За ними с обнаженными головами Швейкин и его товарищи, позади колыхался лес винтовок и бердан красногвардейцев. Всю улицу захлестнуло людское море.

Процессия медленно приближалась к могиле. Кто-то рядом с Глашей спросил хриплым голосом:

— Пошто здесь-то хоронят? Рази на могилках местов нет?

— Тихо! — оборвал любопытного чей-то басок. — Не твоего ума дело!

Но хриплого неожиданно поддержал бархатный, хорошо поставленный баритон:

— Господа большевики рушат дедовские традиции. Они им ни к чему. Это у них называется революцией. Скоро хоронить будут на улицах.

Тоня поглядела на говорившего — он стоял спереди, чуть справа. Молодой, нос горбинкой, губы пухлые, взгляд насмешливый. Уши покраснели — фуражечка не греет. Или форсит или на самом деле нет шапки. В тужурке с медными пуговицами. Из заводских инженеров или конторских.

— Кепку-то сними, нехристь,— упрекнула Тоня.

— Пардон, мадам, не кепка, а фуражка.

— По мне хоть горшок...

— Резонно! — усмехнулся молодой человек, но фуражку сдернул и держал ее в полусогнутой руке у груди. По форме.

— Гляди, и твой там же,— толкнула Глаша Мыларщикову. Михаил Иванович стоял рядом со Швейкиным. Среди русых, белокурых и черных голова Мыларщикова выделялась — рыжая!

Гроб установили у края могилы, и Григорий Баланцов открыл митинг. Он что-то говорил, сильно жестикулируя. До Тони и Глаши долетали обрывки отдельных фраз, которые невозможно было связать воедино. На площади колыхалось море голов. После Баланцова говорил Дукат, за ним выдвинулся высокий подтянутый молодой человек в кавалерийской шинели.

— Это кто же? — спросила Глаша. Тоня не знала. А вот хриплый голос внес ясность:

— То карабашский комиссар. Клепацкий его фамилиё.

— Ему-то здесь что надо? — уточнил басок.

— А вишь ли, покойник когда-то робил в Карабаше.

— Солидарность, так сказать,— опять усмехнулся молодой человек и, стрельнув взглядом в сторону Тони, надел фуражку и добавил: — У товарищей это слово в большом почете.

Глаша обратила внимание на насмешливого молодого человека. И так не вязались эти слова и тон, каким они были сказаны, с тем, что творилось у нее на душе. Покачала осуждающе головой и проговорила:

— Совесть-то у вас есть, а?

— Простите, сударыня, но в слове «солидарность» нет ничего предосудительного, оно не ругательное, его товарищи позаимствовали...

Тоня не вынесла. Навешать бы этому мозгляку пощечин, чтоб не умничал. Ишь, насмешник какой выискался. Люди плачут, сердце сжимается от горя, а он тут с издевочкой, с подковыркой...

— Ах ты, краснобай буржуйский! — сказала Тоня зло.— Язык бы тебе вырвать, уши бы надрать. А что ты в товарищах-то смыслишь, сморчок ты этакий!

Глаша потянула Тоню за рукав — смотри, разошлась как. Но Тоню уже нельзя было удержать. Высокий мужчина с хриплым голосом решительно поддержал ее:

— Катись колбаской, прихлебай! Ну, кому сказано?!

И молодой человек, прикусив с досады губу, ретировался, пробивая себе дорогу плечом. Он что-то еще сказал ругательное, то Тоня уже не слышала. Она вдруг заметила Кузьму Дайбова. Тот пробирался туда, где стояли Швейкин и Мыларщиков. Наконец, пробился к Михаилу Ивановичу и что-то шепнул ему на ухо, показывая рукой в сторону Маслянки — одну из первых улиц в Кыштыме. Мыларщиков нахмурился, повернулся к Швейкину — видимо, сообщил весть, принесенную Кузьмой. Тот, выслушав, согласно кивнул головой.

Снова зарыдал оркестр. Пятеро рабочих взялись за лопаты. Другие стали заколачивать крышку гроба. Сквозь музыку пробивались причитания матери. Глашу опять душили слезы. Тоня потеряла из виду своего Михаила. Искала, искала глазами и обнаружила его рыжую шевелюру недалеко от себя. Михаил пробивался сквозь толпу к Маслянке, а за ним поспевал Кузьма. Там, где кончилась толпа, Тоня заметила человека в солдатской шинели и папахе. Прихрамывая, он торопился в другую сторону от площади. Часто оглядывался. Тоня догадалась, что Михаил и Кузьма будут гнаться за этим хромым. Так бы и крикнула:

— Торопитесь, не то убежит!

Но Михаил и Кузьма и без того видели, что человек в шинели вот-вот доберется до проулка и сгинет с глаз. Они, в конце концов, вырвались из толпы и побежали. Человек дохромал до проулка и остановился. Сначала погрозил кулаком, а потом скрылся. Михаил и Кузьма с револьверами в руках — за ним.

Женщины возвращались с похорон разбитые, внутренне опустошенные. Тоня все время думала о Михаиле, а Глаша клялась себе, что ни за какие богатства не отпустит от себя Ивана. Пусть люди воюют, коль им это нравится, пусть убивают друг дружку, а она Ивана никому не отдаст.

...Иван вернулся домой поздно. Сметал сено на сарай. Пеганку оставил ночевать у себя — завтра собрался съездить в лес за сухарником. За ужином сказал:

— Ну и фрукт этот Лука! Тоже зарод выдумал: там всего копешка и была-то. Чуть в один воз не уложил. Ошметок остался, да за ним жалко и коня гонять.

— А может, привезти — пригодится?

— Не, лучше я завтра за сухарником съезжу.

— Оно так — дровишки тоже на исходе. А мы с Тоней на похороны ходили.

— Угу,— нехотя отозвался Иван. Она рассказывала

ему, а он слушал и не мог побороть сонливость — глаза сами собой слипались. Намерзся и уморился за день-то.

...Михаил Иванович постучался в калитку чуть ли не утром. Тоня уткнулась ему в грудь и заплакала. Увидела бы ее сейчас Глаша, ни за что бы не поверила, что подружка может быть такой слабой. Михаил гладил ее по голове и говорил:

— Полно, полно... Ну чо ты, ей-богу!

— Сам не бережешься и меня с детишками не жалеешь.

Она заснула сразу же, как только положила голову на его сильную руку. А он долго еще лежал с открытыми глазами, боясь пошевельнуться, чтобы не спугнуть сон жены. Однако и его уморила усталость.

Шатун

Лес даром ничего не дает. Хочешь накосить травы — бери топор и очищай еланку от кустов боярышника, осины или березы. Нужна пашня, прежде чем взяться за плуг, выруби лес и выкорчуй пни. Вот и не расстается кыштымец с топором. При всем том — лес и кормилец. Можно запастись ягодами и грибами на целый год. Разве что отъявленный лежебока не имеет у себя моченой брусники, соленых грибов и всяких других лесных даров. В лесах и охота — на боровую дичь, на белку, на дикого козла, на зайца, рысь и волков. Каждый ловит по своему умению и достатку. Кто с ружьем ходит, кто капканы и петли ставит, а иные западни и хитрые приспособления налаживают. Потому кыштымец лес любит и бережет его. На пашню лес не пустит, но в самой тайге зря деревце не срубит и сыну накажет: береги лес, он тебе поилец и кормилец.

Едет Иван мимо поселка Депо, по озеру Сугомак, через Ломову пашню по наезженной дороге. За Ломовой

пашней свернул Иван с накатанной дороги в тайгу. Кто-то недавно проложил санный путь, хотя и не торный, а все же не целиной ехать. Тоже какого-то бедолагу нужда за сухарником погнала. Иван сидел закутавшись в тулуп, зорко поглядывал по сторонам. Сколько всяких следов! Зайцы прямо тропы наторили. Вон там лиса протрусила, заметая хвостом свои следы. На взгорье глухарь на крыло поднялся, тяжело так, только шорох по лесу пошел. Развелось птицы и зверья — не сочтешь. Не до них людям, друг друга убивают. Пушек навыдумывали, пулемет-скорострел смастачили — сотни пуль за один присест выпускает. Аэропланов понастроили. До самой низости докатились — газами травить начали. Была бы Иванова воля, он бы этих выдумщиков, которые пушки да газы придумали, свез бы на необитаемый остров и пусть бы они там свое уменье на самих себе испытывали.

Лес становится гуще и матерей. Совсем сумеречно, вроде бы уже вечер пал на землю. Вверху ветер колобродит. Сосны стонут, однотонно так, тоскливо. Стоп, дальше ехать не стоит. Близехонько Иван три сухостойных сосны приметил. Хватит на воз за глаза. Привязал Пеганку вожжами к дереву, бросил ей клок сена, чтоб не скучно было ждать, скинул тулуп и с топором направился к облюбованной сосне. По пояс в снег провалился. Отоптал вокруг сосны снег, снял рукавицы, жарко поплевал на ладошки и взмахнул топором. Иван только покряхтывал — вах, вах, вах. Когда дерево, надсадно скрипнув, повалилось на землю, с хрустом ломая сухие ветви о другие деревья, лес наполнился тревожным треском. Сосна ухнула в снег и взметнула белую пыль. Пыль медленно осела, и все стихло. Иван прислушался. Где-то поблизости долбил дятел. Сериков поплевал на ладони и принялся разделывать лесину на чурбаки в длину саней. Меж лопаток потек ручеек. И по вискам катится пот. А тело гудит неизбывной силой. Даже раны о себе не напоминают. Иван скинул шинель. Остался в гимнастерке.

В два счета разделал три сосны, перетаскал чурбаки к саням и сложил воз. Сверху набросал еще сухих сучков — на разжишку. Знатный получился воз. Иван споровито опутал его веревками, чтоб по пути не рассыпался, а для верности стянул еще палки, с закрутом. Огляделся, а день-то покатился под уклон. Иван основательно закусил — умял полкаравая хлеба, выпил бутылку молока да съел с десяток вареных в мундире картошек. Правда, холодных, но сошло за милую душу после такой разминки. И тут почувствовал, что продрог. Поверх шинели накинул тулуп и тронул вожжи:

— Ну, милай, трогай! застоялся, небось!

Не спеша выползли на большую дорогу, у Ломовой пашни. Миновали Голую сопку, до Депо оставались самые пустяки. По озеру сизая поземка катилась, наметая на дорогу снежную крупку. Зябко. И вдруг потеплело на душе — Глашу вспомнил. Весь день не вспоминал, а тут вспомнил. Все глаза, наверно, проглядела, не раз за ворота выходила — не возвращается ли из леса ее дровосек?

Про войну думать неохота. Напрочь гнал мысли о ней. Гнать-то гнал. Но разве забудешь бешеные атаки, огненные артиллерийские смерчи, яростные рукопашные схватки, унылое сидение в окопах, особливо в затяжное осеннее ненастье, когда неделями нет на тебе единой сухой нитки? Хотел бы вычеркнуть все эти кошмары. Да вот как? И мучается Иван по ночам бессонницей, и всякие мысли словно назло лезут в голову. Истину говорили старые люди — от самого себя никуда не спрячешься, от прошлого не убежишь. Оно с тобой до гробовой доски.

Пасмурный день угасал. Пеганка медленно тянул воз. Между деревьями замаячили огоньки Депо. Иван вышагивал за возом. Тулуп снял. От него недалеко и до дома. Задумался Иван и удивился, когда кто-то взял Пеганку под уздцы и властно сказал:

— Тпру!

Иван поспешил вперед и нос к носу столкнулся с бородатым человеком в шинели и солдатской папахе. В правой руке он сжимал револьвер.

— Куда прешь? — рявкнул он на Серикова, однако сам, на всякий случай, отступил назад. Иван усмехнулся — пакостлив, а труслив.

— Нахал ты, братец, не знаю, как тебя ругают. Это я тебя должен спросить — куда прешь?

— Выпрягай!

— Зачем?

— Сказано — делай!

— Э, нет, коль тебе приспичило, сам и выпрягай!

— Да я из тебя, гужееда, решето сроблю!

— Опоздал. Уже германец постарался. И револьвером мне тут не маши. Не маши, говорю тебе!

— Ты и вправду, видать, фронтовик. Чей будешь-то?

— Сечкин, вылез из-за печки.

— Не скаль зубы, а то выбью! Помолись лучше перед смертью.

— Ты лучше сам помолись, тебе нужнее молитва-то. В ад попадешь, на медленном огне тебя черти там сожгут. Тем более за меня — безвинного. Я ведь гол, как сокол. И лошадь вот чужая.

— Чья же?

— Коли ты кыштымский, то должен знать Батятина.

— Батыза?

— Кыштымский, оказывается. Нижнезаводской, что-ли?

— Не твоего ума дело. А ты не Ванька Сериков, случаем?

— Угадал.

— Двигай с богом, пока я добрый. Много будешь знать — скоро состаришься.

Всю остальную дорогу Иван дивился странному происшествию.

Сложил дрова поленницей во дворе, отвел Пеганку

Батятину, а тот варнак из головы не идет. Кыштымский, нижнезаводский. Верхнезаводского бы признал — свои ребята. Глаше говорить не хотел. А она заметила — что-то гнетет Ивана. Но не спрашивала, только нет-нет да бросит взгляд: мол, скажи, что у тебя там стряслось. Не удержался, рассказал. Она руки к груди прижала, глаза ее расширились. Шепотом спросила:

— Чой-то ему надо было?

— Пеганку, говорит, выпрягай.

— Свое-то ружье почему не брал?

— Кто же знал?

Она положила ему на грудь голову и всхлипнула:

— Боюсь я, Вань.

— Чего же? Хуже войны ничего не бывает. А я, слава богу, дома.

Глаша подняла на него влажные грустные глаза и сказала:

— Мне так хорошо с тобой, так хорошо, что даже страшно, а вдруг какой-нибудь ирод все это нарушит, а, Вань?

— Не городи глупость. Знал бы, не стал бы рассказывать.

— Да я, Вань, по-бабьи, не сердись. Не сердишься?

— Ну тебя! — Иван привлек ее к себе и поцеловал в теплые, немного солоноватые губы.

Говорят, что у мужа на уме, то у жены на языке. И Глаша была такая же, как все. Ее так и подмывало сбегать к соседке. Будто невзначай очутилась у Мыларщиковых — ситечко попросила молоко процеживать. Свое-то, вишь, прохудилось, а Ваня еще не успел залатать. Да между прочим и сказала:

— На мово-то вчерась какой-то ирод у Депа с наганом налетел: выпрягай, грит, Пеганку. Ужас один!

Посудили-порядили, а вечером к Сериковым заявился Михаил Мыларщиков. Заперлись они с Иваном в горнице.

— Сказывай, что у тебя там случилось,— потребовал Михаил Иванович.

Иван только головой качнул. Ах ты, Гланя-Глаша, еще и героем, поди, меня выставила. Но рассказал все обстоятельно.

Михаил Иванович сосредоточенно курил, не прерывал, изредка кидал на соседа короткие, но пронзительные взгляды.

«Не верит, что ли? — злился Иван. — А по мне хошь верь, хошь не верь... Не мне надо, а тебе, раз пришел».

— Каков из себя?

— Обыкновенный. В шинели, бородатый. Только на левую ногу шибко припадает.

Время выбора

Швейкин согласился выступать в литейке и покаялся. Тяжелый дух в литейке. Борис Евгеньевич остановился в двери — и дальше не мог пойти. Прижало удушье. Бывал здесь до ссылки, да ведь молод тогда был и здоровья отменного. А сейчас?

— Жив, мил человек? — вынырнул откуда-то сбоку Савельич — в кепчонке с козырьком, натянутой почти на глаза, в брезентовом залощенном дочерна фартуке.

— Пока жив,— через силу улыбнулся Швейкин. — Привыкать буду.

— Пошто привыкать-то? — вскинул глаза Савельич.— Уж не робить ли к нам собрался? Обожди меня, оглядись пока, я публику соберу.

Савельич исчез. Рабочие собрались возле широких ворот — через них катали в литейку вагонетки. Ворота чуть приоткрыли — дали доступ дневному свету и свежему воздуху. Приволокли откуда-то ящик, похожий на ларь, в котором держат муку. Савельич вскарабкался на

него первым и проворно так, а потом протянул руку Швейкину. Но Борис Евгеньевич влез без посторонней помощи. В пролете сгрудилось человек сто, а то и поболе. Чумазые, не различишь знакомых. Пришли даже из соседних цехов. Прослышали, что выступать будет Швейкин, а его знали многие. В девятьсот первом году сделался своим человеком, когда работал учеником на газогенераторной электрической станции. В восемнадцать лет стал одним из руководителей кыштымских большевиков. А в седьмом году Швейкина и его товарищей сцапала царская охранка. Об этом даже писала газета «Уральская жизнь», которая издавалась в Екатеринбурге, этот номер газеты в Кыштыме передавали из рук в руки. Савельич газету с заметкой о судебном процессе припрятал за божницу. И лежала она там все эти годы. На днях обнаружил невзначай. Нацепил на нос очки и перечитал. Приподнесет, пожалуй, Борису Евгеньевичу — у него, поди, такой не сохранилось. Сейчас Савельич помахал рукой — тихо, угомонитесь, люди, дайте человеку слово сказать:

— Начинай, товарищ Швейкин, говори.

Борис Евгеньевич прокашлялся и начал:

— Товарищи! Вы сами видите наше положение. Советской власти только три месяца. В наследство мы получили разруху. Верхний завод стоит наполовину. Нижний — тоже! Медь, чугун, динамит лежат на складах — некому сбывать. Нет денег. Кончаются запасы муки, а местные богатеи не хотят нам сдавать излишки. Они ждут нашей гибели. Кое-где поднимаются против нас с оружием.

Борис Евгеньевич говорил горячо, убежденно. Рассказал, как убили Николая Горелова, зачитал записку, подкинутую Дукату. Перевел дыхание. Люди ждали, что он еще скажет. Кто-то не вытерпел и крикнул:

— Контру-то хоть поймали?

— Пока нет.

— Поймаем, в вагранку бросим!

— Не-е! Чугун испортишь. Так прикончим!

Алексей Савельич поглядел на Швейкина и сразу понял, как трудно ему говорить в этой духоте. Лицо Бориса Евгеньевича посерело. «Однако с характером мужик,— уважительно подумал Ичев. — Крепится, виду не подает. И чего его в литейку понесло, будто других цехов нету!»

Борис Евгеньевич уже говорил о том, что в текущий момент самой большой опасностью является германский империализм, что он двинул войска на Петроград, а Совет Народных Комиссаров обратился ко всем с призывом: «Социалистическая республика Советов находится в опасности. Поднимайтесь на ее защиту!»

Швейкин закончил словами:

— Мы, кыштымские большевики, призываем вас записываться добровольцами в Красную Армию. К этому зовет вас и товарищ Ленин!

Швейкин ладонью смахнул пот со лба. В толпе поднялся легкий шумок. Переговаривались. Стоящий недалеко от двери спросил:

— Сейчас, что ли, добровольцами-то записываться?

— Будем записывать желающих, а уж потом всех соберем. Такие митинги, товарищи, идут во всех цехах и заводах.

— Можно вопросик? — Борис Евгеньевич еле разглядел поднятую в дымной глубине руку.— Говоришь, динамиту скопилось много. А коли бабахнет? От Кыштыма-то одни головешки, поди, останутся?

— Непосредственной опасности для Кыштыма нет. Завод в горах, упрятан под землею. Конечно, хорошего мало, если бабахнет. Стекла повылетают. Однако Совет принимает меры, чтобы исключить всякую случайность. Динамит нам еще пригодится.

— Гражданин Швейкин,— крикнул чубатый парень.— А вы Ленина видели?

— Нет.

Савельич заволновался. Этак будут обо всем на свете спрашивать, а до основного так и не доберутся. Поднял руку:

— Вот что, товарищи, давайте ближе к делу. Борис Евгеньевич пояснил — нужны добровольцы в Красную Армию. Вот и давайте записываться.

Из первых рядов шагнул к самодельной трибуне рабочий Степан Живодеров. Давно ли они с Борисом воевали насмерть с крапивой. Вырежут гибкие березовые вицы и налетают на крапиву — хлесь, хлесь, хлесь. Падает жгучая на землю, а Степка молотит ее ногами. И хоть бы что! Да это вовсе и не крапива — это печенеги. И вовсе не Борька и Степка, а русские богатыри. Больше десяти лет не виделись. Да, отгорело детство, по-разному сложилась жизнь. И не с мифическими печенегами нужно сейчас воевать, а с вполне реальными и хитрыми врагами. Чтоб отстоять право на светлую жизнь. Что ты скажешь Степка-Растрепка, ах да, ты же Степан Тимофеевич Живодеров. А Степан сказал:

— Давненько не видел тебя, Борис. Здорово!

— Здравствуй!

— А ты красно баить навострился, прямо заслушаешься. Обсказал все досконально — просветил. Молодец. Мы Советскую власть в обиду не дадим, ты меня знаешь. Наша она до гробовой доски.

— Ты к делу, Живодеров! — крикнули из толпы.

— Мужики! Я не часто на митингах говорю, а сейчас уж позвольте! Так вот, друг Борис. В солдатах я не служил, на заводе робил. Но стрелять умею. Из берданки куяна на скаку валю, без промаха.

— В белый свет, как в копеечку!

— А то за молоком!

— Ха-ха-ха!

— Тихо, зубоскалы! Не дадут человеку высказаться. Так вот, друг Борис, я со всем удовольствием пойду добровольно в Красную Армию и других позову. Матрена с

ребятишками проживет, друзья помогут да и родни у меня целый табор.

— От расхвастался!

— Но, но! Это к слову! Однако можно спросить тебя, Борис, сам-то ты добровольцем пойдешь? Твои друзья-товарищи Баланцов, Дукат пойдут? Или дома останетесь?

— Потребуется — пойду. И другие пойдут.

— Тогда давай так — запишешься ты, я вторым за тобой. Ну, а за мной очередь вытянется. Как, мужики, верно я говорю?

— А чо, по-справедливости!

— Эх и подвел ты, Степан!

— Все? — спросил Швейкин.

— Могу еще, да другие просятся,— улыбнулся Живодеров.

— Вопрос не труден,— ответил Борис Евгеньевич. — Вот ты, Степан, видел когда-нибудь, чтобы большевики в кустах прятались? Видел или нет?

— Большевики? — переспросил Степан и помотал головой. — Нет, что-то не приходилось.

— А вы, товарищи, видели коммуниста, который прятался бы за спины других? Кто видел — выходи вперед!

Загалдели, зашевелились. Кто-то весело произнес:

— Загнал в угол!

— Отвечаю, друг Степан: да, мы пойдем добровольцами в Красную Армию. Я — первый! Коммунисты завоевали Советскую власть, они пойдут за нее насмерть!

Наступила полная тишина. Неожиданно заговорил Савельич.

— Да вы что, товарищи?! Зачем вы слушаете Степку Живодерова, он же известный звонарь! Борис Евгеньевич сурьезно болен, чахотка же у него! Куды ему в солдаты, сами посудите?!

Митинг взорвался и долго не унимался. Так и остался в списках добровольцев под первым номером Борис Евгеньевич Швейкин.

...На утро Борис Евгеньевич вызвал к себе Ерошкина. Тот явился тютелька в тютельку. Хоть часы проверяй. Ветер царапался сухой снежной крупкой в окна, подвывал в трубе. Пакостная зябкая погодка. А Аркадий Михайлович вырядился в демисезонное пальто, пахнущее нафталином. Даже в шляпе. Надо же! И, конечно, с тросточкой. Кыштымские острословы придумали: нельзя представить Кыштым без Белой церкви, а Ерошкина — без тросточки. Аркадий Михайлович снял шляпу, коротким кивком головы приветствовал Швейкина:

— Мое почтенье!

— Здравствуйте, товарищ Ерошкин, садитесь.

— Вы просили меня зайти,— любезно улыбнулся Аркадий Михайлович, в меру вежливо и независимо. «Шуранский ты гужеед,— про себя усмехнулся Борис Евгеньевич.— Все рассчитал: и явился точно в срок, мол, точность — вежливость королей, и любезен, мол, я все-таки воспитанный, не то, что вы. Насквозь же видно!»

— Я думаю без дипломатии, а? — спросил Швейкин.

— Сделайте милость!

— Подвизается в вашем союзе некто Лебедев, молодой, весьма респектабельный человек.

— Совершенно верно,— подтвердил Ерошкин, не уловив иронии, с которой было произнесено слово «респектабельный».

— Этот Лебедев вносит раздор и смуту в среде не только служащих, но и рабочих, защищает «учредилку». На этот счет вам было сделано представление контрольного комитета, с вами объяснялся товарищ Дукат.

— Да, вы правы.

— Больше того, контрольный комитет предлагал выселить Лебедева из Кыштыма, а вы игнорируете это представление.

— Я вам объясню...

— Одну минуту. Не далее, как на днях, во время похорон Горелова, Лебедев вел подстрекательские разгово-

ры. А союз продолжает выплачивать ему жалованье, якобы как секретарю какого-то комитета. Хотя стар и мал знает, что Лебедев — бездельник.

— Извините, но Лебедев член нашего союза и мы обязаны защищать каждого члена союза, на то мы и существуем. Да, у Лебедева свои взгляды на некоторые события, у него своя, так сказать, политическая концепция. Так что ж, Советская власть будет преследовать его за это?

Борис Евгеньевич уловил в глазах Ерошкина тревогу. Понимает, однако, что лебедевские штучки могут основательно повредить союзу служащих.

— Да что вы! — улыбнулся Борис Евгеньевич.— С какой стати Советская власть будет преследовать за политические убеждения! Пусть он садится на любую концепцию и катает на ней куда хочет!

— В чем же тогда дело?

— В самом элементарном. Мы будем непременно преследовать всех, кто свои взгляды станет переводить во враждебные действия. Взгляды взглядами, как вы понимаете, а враждебные действия — это уже иное качество. Или я не прав?

— Благодарю, я вас понял,— склонил голову Ерошкин.— Разрешите откланяться?

— Бывайте здоровы! Только учтите нашу просьбу.

Ерошкин взял шляпу, сунул под мышку тросточку и, сухо поклонившись, вышел. Борис Евгеньевич углубился в свои дела и не заметил, как появилась Ульяна и таинственно сообщила:

— К вам рабочие.

— Так зови их!

Ульяна распахнула дверь и пригласила:

— Заходите, заходите.

Порог переступили пятеро. Одного из них, самого старшего — Суслова Борис Евгеньевич помнил еще по старым временам. Окладистая борода, теперь уже с про-

седью, покатые плечи. Шея задубелая, седым мошком поросла, морщинистая, цвета сосновой коры. Черная косоворотка, шаровары, пимы. Типичный заводской старожил.

— Садитесь, пожалуйста. Уля, принеси еще табуретку,— смех — табуреток не хватает.

Суслов устроился возле стола, остальные — поодаль.

— Из мартеновского мы,— сказал Суслов.

— Знаю, Ермил Федорыч.

— Помнишь все же? — погладил бороду довольный Суслов.— Я шел и соображал — признаешь али нет?

— В шестом году на часовенке красный флаг ночью кто вывесил? На Первое мая?

— В точку. Я. По заданию Николая Федоровича, царство ему небесное.

— А говоришь — помню ли я. Такое разве забудешь?

— Молодые были, рисковые. А нас обчество послало. Вчерась в добровольцы записывались, митинговали. Гумагу тут одну приняли, погляди-ко.

Ермил Федорович вытащил из-за пазухи листок бумаги, свернутый вчетверо. Пальцы узловатые, в поры окалина въелась. Не разгибаются — грабли и грабли. Такими руками медведя за шиворот без опаски можно брать, а тут хрупкий листок бумаги. Борис Евгеньевич, полагая, что принесли список добровольцев, хотел бумажку спрятать. Но Суслов попросил:

— Прочти, однако. Тут про тебя.

И в самом деле про него:

«Мы, рабочие мартеновского цеха, протестуем против выступления оратора на митинге, который задал вопрос товарищам Швейкину, Баланцову и Дукату — идут ли эти товарищи в добровольную армию. Мы находим такие вопросы неуместными, так как эти товарищи, как передовые люди, должны остаться на местах и защищать революцию и власть народа. Мы думаем, что товарищ Швейкин и так достаточно выстрадал, находясь десять

лет в ссылке из-за Николая Второго по предательству капиталистического шпиона. Поэтому выносим этому оратору порицание».

Борис Евгеньевич смущенно потер лоб — надо же! Целый митинг собрали. Неудобно даже. И все же согрела сердце эта неказистая бумажка. Борису Евгеньевичу все одно, где служить революции — в Кыштыме или в армии. Куда пошлет партия, туда и пойдет. А за человеческое тепло и участие — поклон низкий. Сказал:

— Это, наверно, лишнее. И вот оратору порицание — Степану Живодерову. Не со зла же, с открытой душой. Как понимал, так и сказал.

— А ты не сумлевайся,— успокоил Суслов.— Мы тебя знаем и Степку тоже. Укоротить его малость не мешает, больно языкастый. Брякнет по иному делу невпопад, а кому-то это на руку. Ну уйдете вы добровольцами, а мы с кем останемся? Пузановы да Пильщиковы молебствие по этому случаю закажут, обрадуются. Вот какая тут политика.

— Спасибо!

Пожал руку каждому, проводил до крыльца. У себя в комнате подмигнул Ульяне:

— Вот так-то, курносая!

— А я не курносая,— возразила Ульяна.

Он глянул на нее весело и неожиданно согласился:

— Пожалуй. Римский?

— Тятькин!

— Правильно!

— Я так рада за вас!

— Э, что ты понимаешь...

— Про вас? Все!

— Даже? Ну, не красней, не красней!

Швейкин закрыл за собой дверь. А Ульяна смотрела и смотрела на крашенные в голубой цвет филенки, и на лице ее светилась улыбка. И столько в ней было застенчивости, что всякий, кто увидел бы ее сейчас, догадался:

батюшки! А ведь Улька влюблена в Бориса Евгеньевича! Но слава богу, никто не увидел.

...Нелегкая жизнь у Алексея Савельевича, без просветов. К земле гнет, спину сутулит. В литейке-дымокурне за многие-то годы всякой дымной хмари наглотался, теперь она чернотой отхаркивается. Человеком-то почувствовал себя только при Советах. И разор-то кругом, и нехваток, как заплат на старом кафтане, а вот чем-то свежим подуло. И спину хочется разогнуть, и прямо людям в глаза поглядеть. И что-то сделать для новой власти. Борис Швейкин твердит: вы теперь хозяева, вы тут делами вертите-крутите. Вот и крутите смелее, на контриков и их подпевал-саботажников не оглядывайтесь. Чудно попервоначалу-то казалось — хозяева! Не господа Вогулкины там, Ордынские и их заморские толстосумы-покровители, а мы сами — Ичевы, Баланцовы, все из рабочих кровей! А потом пораскинул мозгами, оно и выходит: как ни думай, а власть своя. Всю холуйскую оторопь напрочь откинуть надо и прибрать заводы к своим рукам.

Вон как они нахозяевали, царские-то прислужники. Заводы до ручки довели, многих рабочих по миру пустили. Одна домна еле-еле дышит, а вторая застыла, обвеваемая зимними метелями и весенними стылыми ветрами. В половине цехов гуляют свободно сквозняки да на застрехах чирикают воробьи. А ведь домна-то застывшая — наша. И цехи, где гуляют сквозняки — тоже наши. Все наше. Только вот как подступиться ко всему? Контору такую сварганили — биржу труда. Ходил туда Алексей Савельевич. Свой брат — мастеровой там толчется, работы ждет. А работы нет и кто ее даст? Хозяева, само собой. А хозяева мы сами, вот какая тут карусель получается.

Торопится в свою литейку Алексей Савельевич. Колдует возле жаркой вагранки или по домашности что прибирается, а в голове одна заноза: на бирже-то труда

свой брат мастеровой мается. И гиблая эта литейка, и соки сосет, но представить себе не мог, как бы он без нее жил.

И навострился Алексей Савельевич к Григорию Баланцову, главному в заводском совете, вроде бы по старому-то званию — управителю. И кабинет-то занимал управительский; когда-то здесь царствовал господин Ордынский. Да разве Григорий Николаевич засидится в этих хоромах, где стол не стол, а какой-то рундук на толстых точеных ногах, где не табуретка, а мягкое кресло с кожаными подлокотниками. Сядет в такое кресло Григорий Николаевич, отгородится от мира столом-рундуком и робеет. У Швейкина в Совете как-то проще, по-крестьянски — с табуретками и обшарпанным столом. А здесь барство. Предлагал Баланцов Борису Евгеньевичу — давай поменяемся: я тебе кресла и толстоногий стол, а ты мне табуретки. Смеется:

— Богу богово, а кесарю кесарево.

Не любит свой кабинет Григорий Николаевич, по возможности стороной обходит. По заводу ходит, приглядывается, со знакомыми рабочими разговор ведет, прикидывает по-хозяйски, что так и что не так. Да как-то нескладно все получается. Бросил бы всю эту мороку и в охотку подвигал бы напильником или поударял молотком.

Возле кабинета сидит строгая седеющая женщина, она еще при Ордынском здесь стул просиживала. Она-то и собирала для Баланцова всяческие бумаги. Забежит он на минутку, уткнется в бумаги и прямо плакать хочется. Центральный деловой совет отчет требует, в Уралсовет тоже бумажки подавай. Тут еще уполномоченный (по Уральскому району) председателя особого совещания по обороне нервы дергает — сколько чугуна, сколько железа отправил туда-то и туда-то. Хмурится Григорий Николаевич — ерунда какая-то. По Временному правительству давно панихиду отслужили, а этот липовый уполномо-

ченный живет себе и на телеграммы деньги тратит, вроде и нет для него советской власти.

Прочитал бумаги, сказал, кому что передать и кому что отписать, выскочил на заводской двор и нос к носу столкнулся с Ичевым.

— На ловца и зверь бежит,— сказал Алексей Савельевич и кепочку приподнял: — Мое почтеньице!

— Я какой тебе зверь? — разозлился Григорий Николаевич, у него все еще перед глазами мельтешили проклятые бумаги.

— Не куян, знамо дело, а покрупнее — на Потапыча, пожалуй, вытянешь.

— Надоели твои прибаутки,— махнул рукой Баланцов.— Доставай-ка лучше кисет, у меня тут от делов всяких круговорот в голове. Прочистить самосадом мозги-то хочу.

Молча склеили цигарки, Савельич кресалом запалил трут. Прикурили. Баланцов затянулся до слез, прокашлялся и спросил:

— Чего тебе от меня?

— Слышь, Николаич, надо бы вторую домну пускать.

— Это на какие же шиши? Тут одна-то на ладан дышит. Вишь, сколь передельного чугуна валяется — прямо Сугомакская гора. И опять же — жалованье платить из какой мошны будем?

— Оно так, Николаич, а домну-то задувать надо. Нет жалованья, подождем. Чугуна гора — не пропадет. Дай срок, будет белка и свисток. Ты пойми главное — не бедность, а безделье томит мужиков.

— Будто я слепой...

— Но кто же за нас мозговать будет? На кого нам надеяться? На бога? Всю жизнь надеялись, да если бы сами не сплошали, что бы тогда было? На заморского кровопийцу?

— Ладно, ладно, ворчлив ты стал на старости лет. Абы я не понимаю? Голова пухнет от забот, а с этими

нашими спецами мука. Одни в кусты, другие посмеиваются, третьи вроде бы колготятся, а проку никакого. Приходи-ка ты завтра на совет, часикам к одиннадцати.

Заводской деловой совет собрался, ясное дело, не в одиннадцать, а гораздо позднее. Пришел даже Ерошкин, его привел инженер Куклев, главный заводской инженер. Аркадий Михайлович умостился в кресле, руки успокоил на тросточке. Куклев, тощий, хмурый интеллигент, сел на стул, заложив ногу за ногу. Он сквозь пенсне смотрел на собравшихся, но вроде никого не видел. Жил в себе, в собственном достоинстве. Григорий Николаевич поерзал в руководящем кресле, будто не кресло это было, а горячая сковородка, мученически поморщился и сказал:

— Ну ладно, дело, значит, такое — одна домна у нас робит, а другая нет. Надобно зажигать и другую. Такая вот штука.

Куклев медленно повернул голову, посаженную на тонкую, как кол, шею, снял пенсне и уставился на Григория Николаевича близорукими глазами.

— Я не ослышался, господин Балансов?..

— Товарищ, товарищ, какой я к шуту господин!

— Извините. Я не ослышался, товарищ Балансов, что вы хотите пускать вторую домну? Но простите, а вы в доменном деле что-нибудь смыслите?

— Нет, а что?

— Григорий Николаевич,— встрял Ерошкин,— вопрос-то вообще законный. Это ведь не блины печь — раз-раз и готово!

— А я так и не думаю. Я думаю прямо — надобно домну оживить.

Аркадий Михайлович недоуменно дернул плечами, вроде бы открестился. Дело, мол, хозяйское, делайте как хотите. И улыбочка скривила губы. У Куклева на шее сначала в одном месте расползлось красное пятно, потом в другом. Утвердил пенсне на горбатом носу и вновь полез в драку:

— А вы представляете себе колошник? А он в негодном состоянии. А вы знаете, что кольцевой воздуховод дышит на ладан? Да вы знаете...

— Знаем, знаем, товарищ Куклев, все знаем,— это Савельич подал голос.— Не такие грамотеи, как вы, но знаем...

— Какая самонадеянность!

— Да нет, чего уж там! От нужды идем, нужда нас подгоняет. Мужикам работу надо дать, веру в себя и в нас поселить, вот какая тут самонадеянность.

— Уважаемый Алексей Савельевич,— это опять Ерошкин,— вы человек опытный, рассудительный, но вот скажите мне —для чего? Для чего это донкихотство? Ведь все равно чугун сбыта не имеет. Разру-уха кругом!

— Вот именно! — мстительно обронил Куклев, будто чугунную болванку бросил на пол.

Алексей Савельевич не скоро собрался с мыслями, хмурил седеющие брови, глянул на Баланцова и раздумчиво сказал:

— Для чего, говоришь? Чтоб сегодня наш рабочий люд себя хозяином утвердил, вот для чего,— и, заметив кривую усмешку Ерошкина, добавил:— А разруху-то вы нам подсунули, вы, господин Куклев, и все другие. Вы много лет хозяевали, вот и подсурочили нам разбитое корыто. Только мы ведь не из трусливых.

— Во! — воскликнул Григорий Николаевич.— В точку! И я так полагаю — неча больше лясы точить. Решено — домну приводить в божеский вид.

— Но позвольте,— опять снял в волнении пенсне Куклев,— у нас же нет кокса. У нас нет сейчас инженера-доменщика!

— Ну что кокс? — ответил Баланцов.— Первая домна на древесном угле робит.

— А уголь?

— Уголь есть! — подал голос Иван Юдин.— За Сугомак-горой. Сам летом с Митькой Шувариным жег, да и

другие жгли. А вывезти не успели, да и кому он был нужен?

— Спасибо, Иван Алексеевич, добрая весть у тебя. А с инженером как будем? На нет, говорят, и суда нет. Савельич, а у нас Мирон-то Пыхов жив?

— А что ему сделается? По лесу с ружьишком рыскает, что тебе вьюноша.

— Старый доменщик, зови его, Савельич. Почище твоего инженера.

Расходились молча. Ерошкин вальяжно кивнул Баланцову, прощаясь. Григорий Николаевич подумал: «Вот хлыст. Ну, Куклев, этот и не скрывает, что спесив и не любит нас. А этот? В серединочке отоспаться желает? Или видимость это, а сам заединку с Куклевым, шуры-муры с ним тайно водит?»

Савельич пожал Григорию Николаевичу на прощанье руку и спросил:

— На биржу сам пойдешь, али мне?

— Сам хочу поглядеть, сам. А сколь мы на домну-то возьмем? Пятьдесят? Восемьдесят? А их там полтыщи. Кумекаешь?

— Чего проще!

— Надо с Евгеньичем да Тимониным покалякать. Пусть и на других заводах также. Верно говорю?

С кем поведешься

Лебедев прибыл на Верхний завод в шестнадцатом году, понравился Ордынскому тем, что был свиреп с рабочим людом. Чуть что—по зубам, чуть что—штраф. До того довел рабочих, что те задумали проучить его. Подкараулили темным вечером, накинули на голову одеяло и по всем правилам помяли косточки. Еле отлежался. И ничему не научился. Лишь озлобился сильнее. Гордил-

ся — из столбовых дворян! Может, и вправду, род его тянулся от каких-нибудь Рюриковичей. Но ведь этот последний отпрыск — Максим Лебедев не имел за душой и ломаного гроша. Учился на благотворительные средства, жил на жалованье. После Октября лишился работы не потому, что выгнали, могли, конечно, и выгнать, вспомнив его художества. Просто потому, что не было работы. Вот тут и подвернулись добрые дяди из союза служащих. Они-то и подкармливали Максима Лебедева. Ерошкин виды на него имел. Вернутся старые порядки, незаменимым помощником станет. И лют в меру, и предан будет за то, что поддерживал его в черные дни. Одно не могли сбить с Лебедева эти невзгоды — спеси. А спесь по нынешней ситуации — это зло. Нужно притаиться и ждать. Не вечно же будут у власти большевики. А Лебедева несет на конфликты, на всякие осложнения. Это обстоятельство и бесило Ерошкина. После объяснения со Швейкиным он искал Максима всюду, а тот как сквозь землю провалился. Напакостил и спрятался.

Появился Лебедев в союзе дней через пять — в черной тужурке, в фуражке, в белых щеголеватых бурках с черными осоюзками и черными ленточками на голенищах. Франт. Ерошкин встретил его в коридоре, взял за рукав и не отпускал до тех пор, пока не привел к себе в кабинет. И тогда Лебедев пожал плечами и безразлично спросил:

— А поделикатнее нельзя?

Ерошкин что-то прошипел в ответ, но рукав выпустил. Захлопнул поплотнее дверь и закрыл ее на ключ. И посторонний не придет, и Лебедев не убежит.

— Садись,— пригласил Аркадий Михайлович.

Лебедев сел, закинул ногу на ногу, а фуражку положил на стол вверх донышком. Ерошкин уселся на свое место, скрестил на груди руки и неприязненно поглядывал на Лебедева. Мальчишка. Молокосос. Фиглярничает, а того не хочет понять, что ходит по острию ножа. Сор-

ется — и поминай как звали. Черт с ним, в конце концов не велика потеря. Но ведь это будет удар по союзу. И так товарищи из Совета и большевистского комитета искоса поглядывают, предлога ждут, чтоб прикрыть.

— Могу я узнать, что все это значит? — не выдержал Лебедев.— Чего вы, уважаемый Аркадий Михайлович, таким волком, извините, смотрите?

Ерошкин подался к Лебедеву и, стараясь сдержать нахлынувшее бешенство, свистящим шепотом спросил:

— Вы чего добиваетесь, гражданин Лебедев? Чтоб вас завтра Мишка Мыларщиков к ногтю прижал? Чтоб завтра Борька Швейкин прихлопнул наш союз, а нас — в кутузку кормить клопов? Этого?

— Полноте, Аркадий Михайлович! Зачем драматизировать? У вас просто нервы не в порядке.

— Не фиглярничай! — стукнул кулаком по столу Ерошкин и вскочил со стула.— Либо ты в самом деле идиот, либо прикидываешься им, но тогда с какой целью?

— Я попрошу! Я все-таки дворянин!

— А! — устало махнул рукой Аркадий Михайлович и снова сел.— Надоел ты мне со своим дворянством хуже горькой редьки. Давай одно из двух: либо берешься за ум, или катись на все четыре стороны, куда хочешь, но только вон из Кыштыма. Я не намерен из-за тебя подставлять под удар весь союз. Вот так.

Лебедев сник. Поглядел на Ерошкина провинившимся гимназистом. Угроза не шуточная. Аркадий Михайлович расчетлив. Коль прижмут обстоятельства, отдаст его, Лебедева, на съедение большевикам, а сам в кусты. Уехать бы куда-нибудь, скажем, в Питер... Впрочем, одна веревочка. Старой жизни и в Питере нет. Лучше бы в Париж, но на какие капиталы?

— Аркадий Михайлович, поймите меня правильно. Я не враг ни себе, ни вам. Но воротит меня от всей этой жизни. Другой раз увидишь нахальную холопью морду, душа переворачивается от одной мысли, что сегодня

они — хозяева положения. В зубы ему, в кровь бы его, а нельзя. Нельзя! Слезы в горле комом встают, Аркадий Михайлович. Вот и срываюсь. Тут с товарищем в тужурке поспорил, на похоронах с бабой одной связался, еле ноги унес... Но клянусь честью дворянина, больше не буду...

Ерошкину почудились в голосе Лебедева слезы, и ему стало жаль этого неудачливого дворянчика. Пропадет он без него, Аркадия Михайловича. Подошел, положил на плечо руку. Лебедев поднялся, и Ерошкин в самом деле заметил в его глазах слезы. Сказал:

— Я тебя понимаю, Максим. Но забейся ты в щель и жди. Позову, когда потребуешься. Заведи какую-нибудь кралю, чтоб не скучно было.

И Аркадий Михайлович в порыве откровенности едва не рассказал о тайном разговоре с Ордынским, но спохватился.

Лебедев ушел. Аркадий Михайлович облегченно вздохнул. Кажется, проняло.

Гонца от Ордынского Аркадий Михайлович ждал не скоро. Пока там соберутся, пока обмозгуют, а время, глядишь, и пройдет. Но гонец появился уже в середине марта.

Большевики подписали Брестский договор. Партию переименовали. Раньше она называлась социал-демократическая (большевиков), а нынче назвали коммунистической. А какая разница? Видимо, в России назревали какие-то важные события, о которых в Кыштыме пока не подозревали.

Приехала молодая, довольно симпатичная особа, похожая на курсистку. В бытность в Петербурге Ерошкин навидался таких вдоволь. На ней короткая кацавейка, отороченная беличьим мехом, воротник, муфта и кокетливая шапочка из белки. Она подала Аркадию Михайловичу маленькую теплую руку и отрекомендовалась:

— Анастасия Игоревна Белокопытова.

— Очень приятно, рад вас видеть,— расшаркался Ерошкин.

— Вам привет от Николая Васильевича.

— Боже мой! Как он там? — искренне обрадовался Аркадий Михайлович.

— Жив, здоров, как всегда энергичен. Для всех я приехала по делам союза.

— Если разрешите — где устроились?

— Не беспокойтесь, у меня знакомые.

— К сожалению, беспокоиться приходится. С Николаем Васильевичем обошлись у нас по-хамски.

— Слышала. В Совете я уже отметилась. Так что все на законных основаниях.

Белокопытова для видимости два дня покопалась в бумагах союза, поговорила с некоторыми служащими и как-то вечером, оставшись с Ерошкиным наедине, приступила к главному.

— Обстановка стремительно меняется,— сказала она.— Большевики подписали позорный договор с Германией. Немецкие войска вступили на Украину и заняли Прибалтику. На севере высадились наши союзники — англичане. Внутри России копятся патриотические силы. Большевики доживают последние дни. Они агонизируют. Но без боя не сдадутся, они настроены фанатично. Для победы святого дела нужны деньги, Аркадий Михайлович, нужно золото. Оно в Кыштыме есть. Николай Васильевич в этом всецело полагается на вас.

Ерошкин впервые внимательно рассмотрел гостью. Поначалу показалась молодой. А вот сейчас приметил морщинки возле висков, упрямые складки вокруг маленького красивого рта. Чувственные губы тоже тронули поперечные морщинки-бороздки. Глаза холодные. Такие, наверное, никого не согреют, слабым не посочувствуют.

— Так как же, Аркадий Михайлович? — вывела она его из раздумья. Ах да, золото! Ордынский знал, что го-

ворил — золотишко у кыштымских толстосумов, ясное дело, водилось. Но как его получить?

— Я вас не тороплю,— поняв затруднение Ерошкина, сказала Анастасия Игоревна.— Пробуду в Кыштыме еще дня два, так вы уж, пожалуйста, определитесь к этому времени. Оставаться дольше нельзя — и подумать могут нехорошо, и ждут меня в Екатеринбурге.

— Что-нибудь придумаем,— ответил Ерошкин.— Но все так неожиданно... И потом знаете — кыштымские мужички, у них ведь свой норов: загребать к себе, а не от себя.

— Знакома с таким норовом,— зло усмехнулась Белокопытова.— Гребли, гребли к себе, увлеклись непомерно, вот Россию и проворонили. Значит, у нас с вами два дня. Нет, нет, не провожайте меня, это лишнее.

Ночь не спал Аркадий Михайлович — выход искал. Решил собрать толстосумов у Евграфа Трифонова. Живут с женой вдвоем на Нижнем заводе. Дочь замужем в Каслях. Сын чем-то пробавляется в Екатеринбурге. Евграф — известный молчун. Дом у него на отшибе. Кстати, Евграф может подсказать, у кого из нижезаводских водится золото. Уж он-то знает! Сам, поди, нахапал немало. Хапуга, каких свет не видывал. Все домой тащит. Увидит на дороге полено, поднимет и домой унесет, в свою и без того богатую поленницу. Зимой мужики сено вывозят из леса. На дороге клочки сена — воз за придорожный камень зацепится, или сугробы высоченные бока обтесывают. До единой былинки соберет. На что нижнезаводские мужики прижимистые, но такая скаредность и их коробила.

Трифонов для порядка поломался и дал согласие на тайную сходку у него. Лебедев под вечерним покровом обежал дома толстосумов. Те отнекивались. Кто на грыжу ссылался, кому вдруг недосуг стало. Третьи открыто сомневались — а не накроют их у Трифонова советчики-большевики? Говорят, у них за последнее время Мылар-

щиков свирепствует, рыжий безбожник и головорез. Лебедева все эти разговоры бесили, он выходил из себя и яростно отчитывал:

— Пустят тебя, дядя, большевики по миру, поимей в виду. А придет наша власть — попомним мы тебе эту трусость!

Лебедевская угроза подействовала. Не явился только Лука Батятин.

Евграф — мужичонка невзрачный, с бородкой клинышком, со склеротическими щеками, на которых не росла щетина,— принимал гостей почтительно. Еще бы! Год назад или чуток пораньше они бы и руки ему не подали, а тут сами в дом пожаловали. Ерошкин явился первым. Заставил окна прикрыть ставнями и еще занавесить — надежнее. В ставнях щели могут оказаться. Щели маленькие, а увидеть через них можно многое. Наблюдал Аркадий Михайлович за собравшимися и странное чувство испытывал. Эти люди — и Пузанов, и Лабутин, и вдова Пильщикова враждовали между собой испокон веков, лакомый кусок рвали друг у дружки каждый день, это было их естественным состоянием. Но чтоб вместе, вот так, как сейчас, собраться, им никогда и в голову бы не пришло. А тут, пожалуйста, собрались. Нужда заставила.

Анастасия Игоревна оставила кацавейку в прихожей. В серой кофте с глухим воротником и в длинной черной юбке походила на строгую учительницу. В горнице сумеречно. Горели три свечки на божнице. Пузанов пододвинул к столу табуретку и досадливо упрекнул:

— Скупердяй ты несусветный, Евграф. Свечки запалил, а карасину пожалел.

— А где его взять-то, карасин? Лавочка твоя, небось, с прошлого года крест-накрест заколочена.

— Поди-ка у тебя нет?! Поискал бы получше.

— И искать нечего — про свое все знаю. Вот ежели одолжили бы?

— Креста на тебе нет, Евграф. Гостей привалило столь, а ты для них света пожалел.

— Это верно — столь гостей отродясь не бывало. Да ведь раззор с ними один, с гостями-то.

— Не жилься, Евграфушка, не жилься,— это вступила в разговор дородная Пильщиха.— Одолжу я тебе карасину-то, так и быть одолжу. Давай зажигай лампу. Чо мы будем в темноте-то куликать, разбойники какие, что ли?

— Коли так,— сдался Евграф, проворно вскарабкался на табуретку и быстренько зажег фитиль.

— И самовар прикажи поставить,— вставил Пузанов.— Я тут полголовки сахара прихватил, за чайком-то беседа веселее пойдет.

— Могем, воды — полная речка, а самовар у меня ведерный. Пейте хоть до утра.

Трехлинейная лампа, подвешанная с абажуром к потолку, загнала сумерки по углам.

— Не будем терять времени, господа,— сказала Анастасия Игоревна, пододвинувшись к столу.— Пока любезный хозяин готовит чай, мы, если не возражаете, потолкуем. Наступает решающий момент. Мы должны быть готовы к борьбе, собрать воедино разрозненные силы. Большевики сами власть не отдадут, их надо рубить под самый корень. Но голыми руками это не сделаешь. Нужно оружие, много оружия. Мы можем его достать, но требуются деньги, требуется золото. Полагаю, что кыштымские патриоты внесут свою лепту в дело освобождения родины от большевизма.

Потупились толстосумы. Кто руки меж коленей опустил. Кто бычью шею трет ладонью — задачка! Кто, скрутив «козью ножку», сизый дым под потолок выдувает. У дородной Пильщихи лицо красными пятнами пошло. Пузанов под мышкой чешет.

— Что-то загорюнились, мужики,— усмехнулся Ерошкин.— С кровью отрывать придется, но другого выхода

нет. На кого же еще надеяться, как не на самих себя?

— Не тарахти,— урезонил его Пузанов.— Слово — оно птичка божья, вспорхнуло и улетело. Думаешь это так — запросто?

— Я как раз так не думаю.

— Может, и не думаешь, но ведь и не спешишь?

— Побойтесь бога, у меня же в кармане — вошь на аркане. Я обыкновенный служащий, на жалованье живу,— отбивался Ерошкин.

— Не прибедняйся! Небось, отец-то в могилу с собой богатство не унес, а у него было!

— Господа, господа! — поспешила на выручку Аркадию Михайловичу Белокопытова.— Зачем же упреки? Я хотела бы пояснить — мы не подачки у вас просим. Мы обращаемся к вам с призывом принять посильное участие в борьбе со смертельным врагом — большевизмом. Если вы полагаете, что мы просим милостыню, то глубоко заблуждаетесь.

— Жалко, не жалко, а раскошеливаться придется,— заявила Пильщиха.— Съедят нас большевички с потрохами и не подавятся. Я вношу свой пай на алтарь отечества. А Пузанов у нас крепок задним умом. Да ладно, его тоже припечет!

— Припекло, кума, припекло,— вздохнул Пузанов,— до самых печенок дошло. Намедни Борька Швейкин постращал вытрясти из собственного дома. И вытрясут. Только дулю им! Во! — Пузанов сложил фигу из трех пальцев и сунул ее чуть ли не под нос Белокопытовой. Та оторопела, подалась назад, а потом прикрыла ладонью глаза и улыбнулась. Хохотнул в кулак Лабутин. Рассыпал смешок Аркадий Михайлович. Заколыхалась массивная фигура Пильщихи. Пузанов оробел, даже слюну сглотнул и покачал головой, осуждая себя за неловкость. А после этого нашли общий язык. Порешили, что часть золота дадут собравшиеся, но этого будет мало. Потому поручили Евграфу, поскольку он знает нижнезаводцев, и Макси-

му Лебедеву пошарить на поселке, чтоб найти среди жителей ярых ненавистников советской власти и уговорить их тоже внести пай.

Засиделись допоздна.

А Мыларщиков впервые появился дома рано, чем несказанно обрадовал Тоню и сыновей. Если бы он ведал про сборище у Евграфа Трифонова, разве спал бы безмятежным сном на ласковой Тониной руке?

...На кыштымском базаре до германской войны водились всякие товары — что душе угодно. Тютнярцы привозили муку и разные овощи. Торговали калеными семечками. Парни и девки шелушили их с удовольствием. Башкиры из Аргаяша привозили мясо и мед. Ходили по базару в длиннополых азямах и черных, расшитых бисером аракчинках. Покупали товар в лавках Пузанова, Лабутина, Пильщикова и других кыштымских купцов. Любили чай. Скупали его оптом. На базар приезжали даже казаки из Долгой деревни, что под Челябинском. Иные на подводах, а другие гарцевали на сытых скакунах.

Заводские парни в сапогах с высокими голенищами, надраенными до блеска, а некоторые даже в лаковых; в белых вышитых косоворотках, перепоясанных витыми поясками с кисточками на концах, и ухарски заломленных фуражках с лакированными козырьками ходили табунами. Из каждого завода — свой табун. Задирались друг перед другом, награждали прозвищами. Нижнезаводских ругали «кыргызами», а верхнезаводских — «гужеедами». Грудились возле гармонистов, забывая про вражду, приставали к девкам, сыпали шутками и частушками:

Протяну я ленту алу
До Кыштымского вокзалу,
А другую — голубую
Прямо к милке в мастерскую!

С криком и визгом крутились на карусели, поставленной специально возле заводского фонтана. Пожилые степен-

но лускали семечки, курили и обсуждали житейские и заводские новости.

Но то было и сплыло. Многих парней угнали на германскую. Те, что остались, от темна до темна гнули спину у станков или у печек. Уже не приезжали торговать тютнярцы и башкиры, не звенела по праздникам гармонь, не сходились на кулачки «кыргызы» и «гужееды».

«Эх, какая жисть нарушилась,— запоздало вздыхал Лука Батятин, идя по базару.— Бывалоча, чего только тут не купишь, кого не встретишь. А ныне Пузанов позаколотил свои лавки. Запустенье кругом». Кривая бабка торговала семечками, но куда им до каленых тютнярских! Молодая апайка постелила на землю тряпицу, выложила на нее десяток яиц и просила за них не деньги, а чай. Да откуда теперь лишний чай? Приметил Лука одноногого Андрея Панова, который задорно покрикивал:

— Ай, налетай! Окуни с лопату! Сам бы ел да деньги надо! — У Андрея вместо левой ноги деревяшка, сызмальства так. Глаза раскосые, хитрые да вороватые. Шапку сбил на затылок, обнажив большие залысины на лбу.

— А, Лука! — приветствовал он Батятина.— Люди дохнут от голода, а ты добреешь!

Батятин поморщился, но промолчал. А что скажешь? Попади на зуб этому охальнику, не рад будешь, что связался. Лучше промолчать. Такого не переговоришь, хоть обижайся на него, хоть нет. А окуни, на самом деле, с лопату. И красивые варнаки — зеленые, с темными поперечинами на спине. Мастак ловить рыбу этот Панов.

— Гдей-то ты, Андрей Федорыч, таких натаскал? — спросил Батятин, беря за жабры окуня и разглядывая его.

— А ты купи, коли сам не ловишь. У тебя не иначе еще царские рублевики сохранились.

— Господь с тобой, Андрей Федорыч, откуда им быть?

— Не жилься, купи. Старуха тебе пирог сварганит, а к пирогу косушечку. Да меня крикни, у меня хоть и одна нога, а на косушечку прибегу, право слово!

— Заверни полдюжины, так и быть,— согласился Лука.— Гдей-то все же ты добыл таких красавцев?

Кто-то подошел сзади. По голосу Батятин узнал Ерошкина:

— Ого! Вот это окуни!

— Купи, господин Ерошкин. По дешевке отдам. Вот Лука Самсоныч дюжину берет.

— Спасибо, голубчик, не далее, как вчера, мне щук принесли.

— Щука — хитрая рыба,— усмехнулся Панов.— В лесу лиса, а в озере щука.

Батятин нутром почувствовал, что Ерошкин появился не зря, нет, не случайно очутился рядом. Не такой он человек, чтобы так вот по базару расхаживать. Подкарауливал, варнак.

— Ну что, Лука Самсоныч,— спросил Ерошкин, когда Батятин расплатился с Пановым,— нам по пути?

— Коли вам по Большой улице, то, стало быть, по пути.

— По Большой, так по Большой.

Они миновали заводскую площадь, перешли мост через Кыштымку.

— Почему же, почтеннейший, не явились к Трифонову?

Лука искоса стрельнул недобрым взглядом на вышколенного Ерошкина. Заместо галстука подцепил бабочку. Манишка белая, накрахмаленная. Выкобенивается. Да по какому праву он так сердито выговаривает ему, Батятину? Но вслух сказал:

— Заскудал малость.

— Как же это вы? — усмехнулся Ерошкин, играя тросточкой.— Не скажешь этого, глядя на вас.

— Оно ведь как глядеть. Яблоко-то сверху вроде румяное, а раскусил — внутрях червивое. Животом замаялся. Сам посуди, куда было мне идти, когда через каждую божью минуту до ветра гоняло. Истин бог!

— Медвежья хворость?

— Почто обижаешь-то?

— Ладно, это промежду прочим. Я о другом. Выручайте, голубчик Лука Самсоныч. Нужен надежный человек. Есть дело в Екатеринбурге.

— Я-то кого знаю, Аркадий Михайлович? Живу в своей берлоге, света белого не вижу. Только на базар и хожу.

— Ну а если сами в Екатеринбург?

— Зачем ехать-то?

— Так и быть, только по строгому секрету, надеюсь на вас: груз ценный отвезти надо, Лука Самсоныч. Нужно увезти деньги и золото.

— Так бы и сразу. Нет, не могу, не неволь, ради бога.

— Опять заскудали?

— Не надсмехайтесь, Аркадий Михайлович. Здоровье-то оно от бога, а бога гневить грех. Я так понимаю. Груз шибко богатый. Ни Борьке Швейкину, ни Гришке Баланцу и всей их кумпании знать о нем не положено. Так я кумекаю?

— Абсолютно!

— У них есть Мишка Мыларщиков, наградил меня бог соседушкой. Так он очи-то свои бесстыжие ни днем, ни ночью с моего дома не спускает. Все норовит в нутро заглянуть, а по случаю и прижать. И вот поеду я в Катеринбург. А Мишка потылицу зачнет чесать — это с какой стати Лука Батятин свои пимы навострил? Нет, Аркадий Михайлович, друг ты мой сердешный, человек я робкий. А чего бы вам самим не съездить?

— Это исключено! — сухо отрезал Ерошкин и зло посмотрел на Батятина.

— А Степку Трифонова?

— С ума сойти! За ним гоняются, как за зайцем гончие.

— Самое время ему и провалиться сквозь землю.

— Нет! И не надежный он человек. Может, у вас на

примете все же есть кто? Подумайте, Лука Самсоныч, пораскиньте своим умом. Ну, пожалуйста, это очень и очень важно!

В эту минуту Батятин и вспомнил об Иване Серикове. А что? Пойдет.

— Ладно, подумаю.

— Вот это деловой разговор.

Ерошкин был уверен — коли Лука подумает, значит кого-то имеет в виду. В конце концов он не меньше других заинтересован: ему советская власть тоже поперек горла встала.

О деле судить по исходу

Во всем Кыштыме только управитель горного округа имел барометр, который висел на стене без особой нужды. Кыштымцы и без барометра хорошо разбирались в капризах погоды. Поднимется утром кыштымец и первый взор на горы — как они? Если тонут в седом тумане, ложись досыпать — ненастье не кончилось и конца ему нет. Исчез туман, горы очистились, хоть дождь и не прекратился и свинцовые тучи еще цепляются за макушки гор,— можешь радоваться. Конец ненастью. Либо к вечеру, либо к утру будет солнце. В конце лета первое багряное пятнышко — на склонах гор. Березки пока зеленые, ольха тоже. Но на склоне зажегся первый осенний костерок — лиственницы обрядились в осенний наряд. Прощайся с летом. Если горы туманной дымкой повиты, как будто кисеей подернулись, жди теплую золотую осень, сплошное бабье лето. Если же горы четко рисуются на голубом остывшем от зноя небе — быть холоду! И дожди зарядят, и седые заморозки раньше обычного появятся, и снег ляжет до срока — уже в октябре. И упадет он

сначала не на дома, не на долины, нет, опять же на горы. Поежится утром кыштымец, холодновато что-то. Глянет в окошко — мать честная! Макушки Сугомака и Егозы за ночь поседели — зима стучится. Вот она — уже не за горами. А весну по-разному определяли. Сначала ветры раскачают тайгу, снег, залежавшийся на сосновых лапах, сбросят. Потом Сугомак и Егоза в синеву укутаются. И жди теплых дней. А коль заискрилось, заиграло красное солнышко, тут и дороги почернеют, и сосульки с крыш исчезнут, и грачи прилетят. Пробуждается природа, а вот чахоточные за грудь хватаются. Плохо им, когда чернеют дороги, когда текут ручьи.

Вот прилетел воробышек, уселся на оконный наличник, взъерошил перышки — зиму перезимовал, жив остался, а теперь солнышко пригревает, в первой лужице успел вешней воды напиться.

Смотрит Борис Евгеньевич на серый живой комочек и ежится — знобит его, поташнивает, в голове круженье. Мать просит — приляг, побудь дома, оклемайся малость. А что? Лечь бы да забыть обо всем на свете. Но нет, нельзя размагничиваться. Дел лавина. Откуда что берется. Продолжались митинги, формировались отряды добровольцев. К окружному съезду Советов готовились. Там надо выступить, тут присутствовать, с кем-то побеседовать, разобраться с продовольственным комиссаром — обоз за хлебом снарядить в ближайшие села. Собрали пятьдесят подвод, кое у кого пришлось мобилизовать лошадей — не без этого. Обоз охраняет отряд красногвардейцев.

Борис Евгеньевич собрался в Екатеринбург на окружной съезд Советов. Домой поэтому ушел пораньше.

Март выплеснул последнюю поземку и теперь дарил солнце и тепло. Снег посерел, по дорогам заискрились ручьи, а к вечеру подмораживало. День заметно прибавился. Смеркалось. Вот оно и бучило — шумит неугомонное. Это опускается лишняя вода из заводского пруда.

Бучило — это маленький рукотворный водопад. Не замерзает даже в лютые морозы.

От ворот углового дома шагнул навстречу мужик и поприветствовал:

— Мое почтенье, Борис Евгеньевич!

— Здравствуйте, Иван Иванович! Меня никак ждете?

— Угадали. Кузьмовна сказала — приходишь поздно. Да ничего, думаю, подожду. Покалякать бы надо.

— Пойдем ко мне, Кузьмовна чаем напоит.

— Айда лучше ко мне, коль не побрезгуешь? Раньше-то ведь захаживал.

Иван Седельников — сосед Швейкиных. Лет на десять старше Бориса.

Дом Седельниковых тоже угловой, как и у Швейкиных, наискосок через речку. Щеколда у ворот звонкая, с чугунным кольцом на улочной стороне. Под кольцом железная пластинка, чтоб руку щепкой не занозить, когда берешься за кольцо.

В избе света еще не зажигали. Но звякнула щеколда, хозяйка засуетилась, зажгла лампу, цыкнула на ребятишек, чтоб не шумели. А их четверо. Старший, Димка, отцу помогал: летом жечь уголь, а зимой плести короба.

— Милости просим, дорогой гостенек,— запела хозяйка.— Раздевайтесь, в горницу проходите.

Седельников помог Борису Евгеньевичу снять пальто, повесил на гвоздь. Свой полушубок бросил на топчан. Швейкин ладонью пригладил на висках волосы и увидел самого младшего Седельникова. Тот стоял без штанов, в рубашке до пупка и, засунув в рот палец, внимательно следил за чужим дядей. Борис Евгеньевич присел на корточки и протянул руку:

— Здоров!

— Сдолово,— ответил мальчик и протянул левую руку, но палец другой изо рта не вытащил.

— Ты чо левой-то здороваешься? — спросил отец.— Правой надо.

Мальчик вытащил изо рта палец, обтер его о рубаху и подал Швейкину.

— Вот теперь ладно,— улыбнулся отец.

— Как тебя зовут?

— Ванюшкой...

— Еще один Иван Иванович!

— В роду так повелось. Мой тятька тоже был Иваном Ивановичем. Я тоже в семье младшим был.

Хозяйка поставила самовар на стол, брусники моченой, грибков соленых — ешь, дорогой гостенек. Хозяин запотевшую крыночку самогонки извлек, из самого подпола — пей, гостенек!

— О! — потер руки Борис Евгеньевич.— Чего давно не пробовал, так моченой брусники. Наши что-то в этом году подкачали.

Хозяйка деревянной ложкой зачерпнула ягоды с соком и подала. Он с удовольствием попробовал и проговорил:

— Хороша! Знаете, нигде так не умеют мочить бруснику, как у нас. Какой тут секрет, не ведаю, но такого чуда и в Сибири нет.

Пить самогон Борис Евгеньевич отказался — зельем никогда не баловался. Хозяин опрокинул в себя целый стакан. Молча жевал закуску. Захмелев, обратился к гостю:

— Как дальше жить будем? Ты там при власти, тебе виднее.

— Одолеем разруху, поднимем хозяйство и хорошо заживем.

— Твоими бы устами да мед пить. А я так думаю — промашку мы дали, шибко большую промашку. Николашку скинули — туда ему и дорога. Какой-то несурьезный был у нас царь, замухрышка. А вот англичанам под зад дали — тут мозгами пошевелить надобно было.

— Жалеете, что ли!

— Их? Они мне родней не приходились, чтоб жалеть их, я ребятишек своих жалею.

— Не всегда же так будет.

— Откудова я знаю? Нет у меня такой веры. Рад бы поверить да пока не во что. И некому. В разоре наша жизнь.

— Догадываюсь, Иван Иванович, вас кто-то обидел.

— Если хошь знать, то меня всю жисть забижают. Я не даюсь, а меня забижают. Ты вот мне скажи, по какому праву у меня со двора конягу увели? Я, по-вашему, буржуй? Мы с братаном Лехой, ты его знаешь, он у нас немтырь, вдвоем спину гнули да еще Кольке Косолапову на зиму давал гнедого. Так что — я буржуй?

— Насколько я понимаю, коня вашего взяли на время.

— На время... Сашка Рожков винтовкой потрясал — я, мол, тебе покажу, буржуй несчастный, весь твой терем по бревнышку растаскаю. За какие же грехи?

Седельников налил себе еще, однако жена убрала стакан, сказав:

— Хватит! И так окосел.

— Коня вернут, Иван Иванович,— миролюбиво сказал Борис Евгеньевич.— Но сегодня он нам нужен. Поехали за продовольствием в села. Вернутся — сразу отдадут. А с Рожковым мы разберемся.

— Уж чо,— махнула рукой хозяйка.— Коня бы только вернули, не забыли. Бог с ним, с Рожковым. Мой горяч, а тот, видать, и того горячее. Вот и наговорили друг другу семь верст до небес. Еще чайку?

— Нет, благодарю.

— Без коней я кто? Сам посуди. Ложись да помирай.

— Самому надо было ехать.

— Разве можно?

— А почему нельзя? Такие, как ты, и поехали.

— Чо ж тогда? По-людски бы и растолковали. А то буржуй, терем по бревнышку раскатаем.

Утром Борис Евгеньевич уехал в Екатеринбург на окружной съезд Советов. Пробыл там три дня и вернулся совсем больным. Таким Екатерина Кузьмовна его еще

не видела. А он все хорохорился, собирался в Совет — мол, дел там всяких невпроворот. Но она не отпустила его, напоила чаем с малиновым вареньем, уложила в постель и побежала в заводскую больницу к доктору — Юлиану Казимировичу. Приехал он сюда из Польши еще до германской.

Юлиан Казимирович основательно прослушал больного. Екатерина Кузьмовна глядела на него с великой надеждой — что скажет? Но доктор посмотрел на нее хмуро и потребовал оставить его наедине с больным. Екатерина Кузьмовна обиделась, но ушла, плотно прикрыв дверь.

— Милостивый государь,— сказал строго Юлиан Казимирович,— вам надобно лечиться и немедленно. Желательно начать сию минуту.

— Извините, доктор, но это невозможно...

— Что значит невозможно? — сверкнул очками Юлиан Казимирович.— Это же в ваших интересах! Я с вами откровенен, ибо вижу, что вы человек сильный, одно из двух — либо вы лечитесь, причем основательно, либо...

— Не надо, доктор. Поймите правильно — сейчас я не могу.

— На что вы рассчитываете?

— Во всяком случае не на бессмертие,— улыбнулся Борис Евгеньевич.— И не считайте меня сумасшедшим. Я люблю жизнь и готов выполнить любое ваше требование, но разве вы не видите, что происходит?

— Допустим, но на недельку вы могли бы отвлечься от всех забот?

— На недельку? А что это даст?

— Утихнет воспалительный процесс.

— Ну, если на недельку...

Уходя, Юлиан Казимирович сказал:

— Вы для меня самый непонятный пациент, каких я только знал в своей практике. А она у меня, поверьте, солидная.

...Ульяна, узнав о болезни Бориса Евгеньевича, загрустила, посматривала на всех искоса, будто осуждала. Особенно Михаила Ивановича Мыларщикова, который ездил со Швейкиным на съезд. Вроде он виноват в том, что привез Бориса Евгеньевича оттуда совсем больным. От ее косых сердитых взглядов он чувствовал себя неловко. Наконец Михаил Иванович не выдержал и заявил:

— Ну, вот что, девка, ты на меня, как на татя лесного, не смотри! Скумекала?

— Да вы чо? — удивилась Ульяна.— Вам поблазнилось, Михаил Иванович.

— Поблазнится... Ишь глазища-то у тебя какие!

— Скажете тоже...— смутилась девушка и с этой поры вообще перестала замечать Мыларщикова, будто его и не существовало.

«И чего она на меня взъелась? — терзался он.— Вроде худых слов ей не говорил. А как приехал из Катеринбурга, так девка чего-то дурит. Постой, постой...— стукнул себя по лбу Мыларщиков.— Так ведь... Эге! Тю-тю! Она же в нашего Бориса никак...»

Ульяна порывалась сходить к Швейкиным, но робость удерживала, ох уж эта робость! Всегда появляется не ко времени. Встретила Шимановскова, длинновязого поляка, с белыми бровями на усмешливом лице, в смешных желтых сапогах-крагах. Фамилия его Шимановский, кыштымцы ее на свой лад переделали. И стал он Шимановсков. Она знала, что Шимановсков был дружен со Швейкиным еще в Сибири, да и в Кыштыме жил недалеко от Бориса Евгеньевича и часто бывал у него.

— Послушай, Вася, ты видел Юлиана Казимировича у Швейкиных? Что он сказал?

— А что он мог сказать? Приходи, говорит, ко мне вечером, есть у меня заветная склянка коньяку или спирту, выпьем и споем наши польские песни. Да прихвати с собой паненку.

— А еще что он сказал?

Шимановсков понимающе улыбнулся:

— Не ведаю. Вот чего не ведаю, того не ведаю. Слышал одно: Борис сильный. Я и без него это знаю. Собственными глазами видел, как он ходил на медведя с рогатиной. Я сидел в избе, целый день дрожал от страха только от мысли: как это он там с медведем вдвоем? А Борис даже и глазом не моргнул, вот какой это человек.

— Ну тебя! — сказала обидчиво Ульяна.— Вечно ты со своими сказками!

— Езус Мария! — воскликнул Шимановсков.— Не говори так!

Но Ульяна уже не слушала его. Ее охватила жажда деятельности. Она принялась создавать уют в кабинете Швейкина. Принесла пунцовую герань, шторки-задергушки. Взялась драить пол. Скоблила его ножом — грязи натаскали! Потом, подоткнув юбку, развезла на полу мокроту — чистоту наводила. Принесла нелегкая Дуката. Влетел в кабинет без спроса, в сапожищах. Ульяна ойкнула, одернула юбку и выпрямилась. Спросила сердито:

— Вам чо?

Дукат глянул на свои грязные сапожищи, попятился, смущаясь тем, что оставил на чисто выскобленном и вымытом полу грязные следы. У двери задержался и, уже одолев смущение, окинул цепким взглядом кабинет. Он теперь напоминал смесь кабинета с горницей в доме среднего достатка. Ульяна, стоя с мокрой тряпкой, простоволосая и одетая по-домашнему, в галошах на босу ногу, ожидала, что Дукат похвалит ее за чистоту и уют. А он иронически улыбнулся, качнул головой и спросил:

— Ты всерьез считаешь, что эти новшества он примет? — имея в виду Швейкина.

— А чо, разве плохо?

— Да это же мещанство, Уля! Эта герань и задергушки! Здесь же боевой штаб кыштымской революции, а ты разные буржуазные финтифлюшки заводишь.

— Коли штаб, так пусть в грязи тонет?

— Извини, этого я тебе не говорил. Я про герань, а чистота должна быть, это бесспорно. И напрасно принимаешь близко к сердцу, я же не в обиду. Что Борис Евгеньевич? Что-нибудь слышно?

— Не слышно,— дерзко ответила Уля.— Я сама хотела вас спросить.

— Ну, ну, не надо сердиться, на сердитых воду возят.

Дукат удалился, вставая на цыпочки, словно боялся кого-то разбудить. И смешным он ей показался — в кожаной тужурке, в галифе, такой серьезный и солидный, а крадется на цыпочках, как маленький. Она улыбнулась, хотя в глазах поблескивали слезы — нет, она не умела долго сердиться. Затерев следы, оставленные Дукатом, продолжала мыть пол. Но появился Алексей Савельевич Ичев. Просунул седую голову в дверь и спросил:

— Нетути?

— Хворает он.

— Ах ты, Якуня-Ваня! И Мыларщикова нетути?

— Сегодня не видела.

— Вот напасть-то. Мне позарез нужно повидаться. Да вот не знаю, где живет. А тебе, вижу, некогда.

— Пошто некогда? Я уже. Обождите минутку.

Ульяна быстро домыла пол, убрала утварь, спрятала галоши и надела боты.

...Ичев и Ульяна пробирались Большой улицей. Лужи да ручьи преграждали дорогу. Солнце плескалось в талой воде, прыгало зайчиками по окнам повеселевших изб, слепило глаза.

Шли молча. Ичева угнетала своя дума, да и на разговоры он был не больно прыткий. Знавал он Улькиного отца, Ивана Михайловича Гаврилова. Ульяну видел еще в зыбке. Лукерью, мать девушки, только намедни встречал — болеет что-то старуха. Ульяне бы поспрошать, зачем Савельичу потребовался Мыларщиков, да робеет. Еще Ульяна думает о словах Дуката, и ее снова одолева-

ют сомнения: штаб кыштымской революции и герань! Может, в самом деле убрать?

Дом у Мыларщиковых чуть на косогоре: окнами на Озерную, а боковой глухой стеной — на Нижегородскую. Два рыжих мальчугана строили на ручейке мельницу. Из камней и грязи сотворили плотину, а теперь ладили колесо. Что-то у них не получалось. Старший — Назарка — то и дело покрикивал на брата.

— Отец дома? — спросил ребят Савельич.

— Нету тятьки,— выскочил вперед Васятка.— На конях с Кузьмой ускакали.

— А тебя как зовут-то, пострел?

— Василь Михалыч.

— Гляди-ко! — удивился Ичев.— А я и не знал.

В это время открылась калитка, на улицу вышла Тоня и сказала:

— Сопли-то вытри, Василь Михалыч. Назарка, у тебя же руки окоченели, простудишь.

— Не,— возразил Назарка, не отрываясь от дела.

— Добрый день, хозяюшка,— приподнял картуз Савельич.— Так я тебя, выходит, знаю. Ты дочка Рожкова. Крут у тебя тятенька!

— Чо и вспомнили-то,— улыбнулась Тоня.— Крут да не указ!

— Куда Михаила-то спрятала?

— Спрячешь его настырного. Чуть свет ускакали на Высокий переезд.

— Не сказывали, по какой нужде?

— Будто кого-то там с поезда сбросили. Не то до смерти убился, не то покалечился.

— Скор у тебя хозяин на ногу, держись за него крепче!

— И так никуда не денется. Вот,— показала она рукой на ребят.— Его золото. В нашей родовой рыжих нет.

Алексей Савельич хохотнул про себя и попрощался с хозяйкой. Ульяне Тоня не понравилась — очень бойкая.

Наговорила бог знает что. А Михаил Иванович ничего, обходительный, лишнего не скажет.

Обратно возвращались по Нижегородской. Ичев сказал:

— Чо делать-то будем? Может, к Швейкину завернем?

— Ой! — Ульяна взялась за горло.— Он же хворый, дядя Алеша. Неловко как-то...

— Ежели бы я один навострился, мог бы сказать: не мешай, старый хрыч,— пошутил Ичев.

— Што вы, дядя Алеша, да не скажет он так, не таковский он.

— Откуда ты знаешь? А приду с тобой, разве он посмеет? — с улыбкой глянул на нее Савельич.

Девушка смутилась:

— Ну уж прямо...

До бучила добрались незаметно. Ичев уверенно открыл калитку, и они вошли во двор. Там Владимир Швейкин колол дрова.

В прихожей гостей встретила Екатерина Кузьмовна. Сухонькая, подвижная. Позавидовать можно было ее бодрости в шестьдесят лет.

— Батюшки! — сказала она нараспев.— Никак Савельич! Да какими же это путями?

— Какие там пути — тропинки косогористые да каменистые.

— А эта? — кивнула на Ульяну.— Дочурка?

— Есть у меня дочь. И эту посчитал бы за честь в дочерях иметь. Да только она Ивана Гаврилова дочь.

— Да что ты говоришь? Ивана Михайловича? — всплеснула руками Екатерина Кузьмовна.— И красавица писаная. Звать-то как?

Ульяна, застеснявшись, ответила едва слышно.

— Молодой растет, а старый старится. Вот не дожил отец-то, царство ему небесное. Раздевайтесь и проходите в комнату.

Борис Евгеньевич услышал голоса и вышел навстречу — веселый, вроде и счастливый от того, что пришли его навестить.

— Давайте ко мне в комнату. Кузьмовна, а Кузьмовна!

Когда мать выглянула из кухни, он попросил:

— Ты уж нам чайку, а? С земляничным вареньем. Уля, ты любишь чай с вареньем!

— Люблю,— зарделась девушка.

В комнате Бориса Евгеньевича было жарко натоплено. На маленьком круглом столе разбросаны письма, а на полу стоял деревянный сундучок. Ульяна даже обрадовалась, увидев его. В прошлом году, когда встречали Бориса Евгеньевича из ссылки, он вышел из вагона вот с этим сундучком. Перехватив ее взгляд, Швейкин сказал:

— Неразлучный мой спутник. Был со мной в тюрьме и по Сибири скитался. На вид неказистый, но удобный.

Швейкин предложил венский гнутый стул Ичеву, Ульяну пригласил в старое уютное креслице. Но она пододвинула себе тоже стул. Их тут было пять, похожих друг на друга, как близнецы. Не спускала глаз с писем, узнала почерк Бориса Евгеньевича.

— Это мои депеши,— улыбнулся он.— Слал их домой все десять лет. Думал, сожгли, да нет — целы! Любопытно, знаете, на досуге перечитать. Будто не ты и писал.

— Можно? — спросила Ульяна, беря одно из писем.

— Само собой! Сделай милость! Хочу спрятать в сундучок да на чердак. Есть-пить не просят, а потом, может, пригодятся.

— Да детям твоим и пригодится,— согласился Ичев.

Ульяна торопливо глотала строчки:

«А тебе, Екатерина Кузьмовна, надо лечиться, если хвораешь. Коли гематоген помогает, то надо пить его, это штука хорошая. О моем здоровье не спрашивайте, ему ничего не делается, и я, наверно, здоровее всех вас. Ну

что касается амнистии, то об этом лучше и думать забудьте. Во-первых, никакой амнистии и быть не может. А если случится такой грех, то нас-то она, с уверенностью можно сказать, не коснется. Да я бы не желал ее, нет никакой охоты принимать ради Христа милостыню...»

Пока Ульяна читала, Швейкин и Ичев поинтересовались друг у друга о здоровье, о разных пустяках, поговорили о погоде. Вроде бы без этого дипломатического предисловия неудобно было начинать самое главное. Ульяна, читая, одновременно слушала их, ждала, прямо сгорала от любопытства: какая же забота привела сюда дядю Алешу? Савельич же исподволь тихо подъезжал к цели. И вот наконец:

— Двоюродную-то мою сестру знаешь?

— Нижнезаводскую, что ли?

— Ее. С Евграфом Трифоновым она в соседях. Ты и Евграфа должон знать. Так вот намедни собирались у него все наши буржуи, ну прямо волчья стая. А с ними какая-то баба из Катеринбурга. Деньги и золото собирали. Соображаешь, куда дело клонится?

— Тут и соображать нечего!

— Я бы, может, не поверил, сам знаешь, бабы разные сплетки собирать любят: мол, за что купила, за то и продаю. Но вот Мелентьева-Бегунчика встретил. Божился — самолично видел, как заполночь расходились заговорщики. Тоже в соседях живет. Выскочил, сказывает, во двор, коровенка что-то мычала, услышал, ворота у Трифоновых скрипнули. И тени шур-шур в разные стороны. Пузанова опознал точно, других нет.

— Это уже не шутка!

— Что ты, Евгеньич! Точат они на нас ножи, а может, уже наточили и выжидают. Как бы нам такую беду не прохлопать.

— Значит, деньги и золото собирали?

— Я так и полагаю: на оружие. Да Пузанов послед-

нюю рубаху заложит на это. Надо что-то делать. У тебя, конечно, хворь, но ты хоть совет дай.

— Что там хворь! Ей только поддайся. Кузьмовна!

Мать заглянула в комнату:

— Аиньки?

— Сколько на наших ходиках?

— Без четверти два.

— Кликни Владимира.— Мать ушла.— Вот что, Алексей Савельевич, иди к Баланцову и вместе в Совет. К четырем, ладно?

— Договорились.

— Уля, обежишь верхнезаводских, знаешь кого, не впервой.

Появился Владимир, потный, усталый.

— Дело есть, Володя. Вот список, беги на Нижний и зови этих товарищей в Совет. К четырем. Управишься?

Екатерина Кузьмовна только руками развела — что же это такое? Чай готов, а Борис всех из дома гонит.

— Как-нибудь в другой раз,— пообещал Ичев.— Нагрянем с чем-нибудь покрепче к чаю-то. Так ведь, Уля?

Ульяна набралась храбрости и попросила дать почитать письмо, какое выберет. Борис Евгеньевич взял самое объемистое и отдал девушке, предупредив:

— Чур с возвратом!

Разве она не понимает? Эти письма для него память. Найдет настроение, почитает — и вроде с прошлым своим поговорит. Для Ульяны сундучок с письмами притягательнее любой книги. Вот одну страничку дал ей Борис Евгеньевич, и она не знает, как благодарить его за это. Уже на улице, восстановив в памяти обстановку комнаты Бориса Евгеньевича, Ульяна решила: да, пожалуй, надо убрать задергушки и герань. И прежде чем выполнить поручение, забежала в Совет и в минуту ликвидировала весь «уют».

...Как водится, в четыре не начали. Пока собирались, тянулись один за другим, глядь — полчаса лишних и

прошло. Уже до начала заседания накоптили — глаза пощипывало. Теперь увещевай не увещевай, все одно не поможет. Ульяна открыла форточку. Комната большая, а на три окна всего одна форточка. В других комнатах вообще ни одной нет. Так кыштымцы строились — берегли тепло. Оно по́том добывалось, тепло-то.

Пришло человек двадцать — самых активных. Мало. И то сказать — по части Кыштымской организации РСДРП жандармы постарались на совесть. Пожалуй, ни одна уральская организация не была так опустошена в годы реакции, как эта. Самый цвет ее пораскидали по белому свету, а иных и в живых уже не было.

Борис Евгеньевич посматривал на своих товарищей, на самую главную кыштымскую гвардию. Мало, но зато какие! Закаленные, твердые. Вот Баланцов, поглаживая усы, склонив упрямую голову, слушает Василия Крючкова. В углу примостились братья Гузынины — Иван да Андрей. К ним подсел Дукат, что-то оживленно принялся рассказывать. Иван хмурился, а Андрей улыбался, он младший, жизнерадостный. А там рабочие — Савельич, Иван Юдин, спокойный, уравновешенный. Тимонин сидит в первом ряду, закинув ногу на ногу, пристроил на колени блокнот. Пишет. У него куча забот. Еще бы! Комиссар экономики!

— Все в сборе? — глуховато спросил Швейкин.

Баланцов, вытягивая шею, пересчитал собравшихся.

— Вроде все.

— Мыларщикова не вижу,— заметил Дукат.— Дисциплинка у него хромает.

— Мыларщиков занят, с выводами не спеши,— поправил Швейкин.— Будем начинать?

Улеглась тишина, потушены цигарки.

— Произвели мы запись добровольцев в Красную Армию, часть их отправили в Екатеринбург. И наверно, посчитали, что дело сделано. Война далеко от нас, а здесь вроде не опасно. Дутов под Оренбургом, немцам сюда не

дошагать. А доморощенная контрреволюция под самым носом паутину плетет. Ждет своего часа. Расскажите-ка, Алексей Савельич, какую они паутину плетут.

Ичев рассказал. Вот это новость! И в самом деле под носом зашевелились. Ну и Евграф, ну и скупердяй! Под крылышко к себе пустил. То-то примолкли эти Пузановы да Лабутины, с Екатеринбургом связь установили. Сигнала, видно, ждут.

— Позволь? — поднял руку командир красногвардейцев Сашка Рожков, кум Глаши Сериковой.— На динамитном, понимаешь, мои двух субчиков сцапали. Я их в каталажку, а они молчат, как в рот воды набрали. Да я их согну...

— Ты их, они тебя,— усмехнулся Швейкин.— Властью-то, смотри, не злоупотребляй. Прежде чем в каталажку прятать, разберись хорошенько. А то чего доброго и невиновных хватать начнешь.

— Да я эту контру за версту чую!

— Что-то хотел сказать, Дмитрий Алексеевич?

Тимонин поднялся, повернулся лицом к собранию:

— Вчера я вернулся из Екатеринбурга, доложил наши беды. Скорой и большой помощи не обещают. К чему я это говорю? А вот к чему. По заводу распространяются слухи, будто большевики растаскивают добро и прячут его в лесу и по заимкам. Зреет глухое недовольство, особенно несознательного элемента. И вот вам сообщение товарища Ичева. Дело нешуточное. Нельзя сидеть сложа руки.

— Погоди-ка, Алексеич,— вмешался Баланцов,— слушал я тебя и, ей-богу, мурашки по спине поползли: хоть ложись и помирай. Выходит, положение-то темнее ночи, а выход какой?

— Конечно, нелегкое...

— Сейчас Григорий Николаевич начнет бить себя в грудь,— вмешался в разговор Дукат.— Зачем, скажет, власть брали... А, по-моему, надо действовать по-револю-

ционному — немедленно очистить Кыштым от контры и ее прихлебателей.

— Что ты предлагаешь? — спросил Баланцов.

— Арестовать и никаких поблажек!

Бомбу вроде бросил Дукат — все вдруг вздыбились, закричали, не слушая друг друга. Дверь отворилась, и на пороге застыла коренастая фигура Мыларщикова. Первым его заметил Швейкин, потом Баланцов, и вот к двери обратили свои взоры все участники собрания. Разговоры стихли...

...Мыларщиков с Кузьмой вернулись с Высокого переезда под вечер. Завели коней во двор, расседлали, и Михаил Иванович сказал:

— Пить им пока не давай, пусть охолонут малость. Меня подожди, не уходи никуда, нужен будешь. И держи язык за зубами.

Через минуту Мыларщиков входил во двор к Сериковым. Видел, как Глаша отодвинула задергушку — думала, Иван возвращается. Открыл дверь в избу и, шагнув через порог, спросил:

— Могу?

— Заходь, заходь, Михаил Иваныч. Вперед проходи.

— Грязный я, можно и здесь,— Мыларщиков пододвинул к двери табуретку и непривычно сурово посмотрел на Глашу. Она поежилась — чего это он смотрит на нее так странно? Может, лихого чего задумал? В предчувствии беды заныло сердце. Господи, да что такое стряслось — не видела еще таким суровым Мыларщикова.

— Где Иван?

— В Катеринбург уехал.

— Зачем?

— Лука попросил.

Мыларщиков ерзнул на табурете, на прочность проверял, что ли? Табуретка не развалилась. Михаил Иванович строго потребовал:

— Рассказывай!

— А чо рассказывать?
— По какой надобности Лука послал его в Катеринбург?
— Не знаю. Намедни заглянул Лука Самсоныч. Говорит, надобно мне с Иваном с глазу на глаз покалякать. Закрылись в горнице, а чего там баяли — не ведаю.
— Дальше.
— Ну ушел Лука Самсоныч, а Ваня позвал меня и говорит: сгоняю я, Глань, денька на два в Катеринбург. Лука просит, пуд сеянки обещал да еще деньжат.
— За что?
— Михаил Иваныч, да не сказал он мне ничего. Думаю, вернется, тогда и поспрошаю. Да не томи ты мою душу! Что случилось?
Мыларщиков тяжело вздохнул и покачал головой.
— В беду попал твой Ванька. Говорил же я ему — не вяжись с Батызом. Не знаю, останется ли еще жив, Иван-то...
— Окстись! — испуганно замахала руками Глаша, а сама попятилась от Мыларщикова, как от чумного.— Окстись! Чего мелешь-то?
— Ничего не мелю, Гланя. Убили твоего Ваньку, да слава богу не до смерти.
— Не-ет! — закричала Глаша.— Нет! Нет!
Она встала перед ним на колени, схватила тяжелые руки его и, давясь слезами, умоляла:
— Ну скажи — неправда, ну скажи, Михаил Иваныч, миленький, скажи...
— В вагоне ударили железякой по голове и сбросили с поезда,— глухо обронил он.
Глаша уткнулась лицом в его широкие жесткие ладони, и он ощутил на них ее жгучие слезы. Ах, Иван, Иван, что ты наделал? Куда сунул свою голову? Глаша слышала, словно издалека, глуховатый голос Мыларщикова:
— Подобрал его путевой обходчик. Увезли твоего Ивана в больницу. Живой, но без памяти. Перестань,

Глань, плакать, слезами горю не поможешь. Попытайся припомнить — зачем посылал Лука Ивана в Катеринбург?

— Не знаю,— машинально ответила она.

— Припомни, Глань, ты же понимаешь — это очень надо, ну прямо позарез надо.

Глаша поднялась, скорбная, пришибленная, сама не своя. Будто вынули у нее душу, и тело обмякло, стало безвольным. Шаркая, побрела в горницу. Дала волю слезам. Михаил Иванович слышал ее надсадные всхлипы, но не шелохнулся — пусть проплачется...

Глаша появилась минут через пять и, глядя поверх его головы отрешенными глазами, проговорила тихо, с безразличием, испугавшим Мыларщикова:

— Я проводила его до ворот, дальше не пустил. А Лука вынес ему баул. Ваня еще спросил, я хорошо слышала: «Чо у тебя тут напихано? Что-то шибко тяжело».

— А Лука?

— Не расслышала. У них пес затявкал.

— Глань, может, пойдем к нам?

Она отрицательно покачала головой, все еще глядя безразлично куда-то в одну точку.

— Пойдем, Глань?

— Нет! — вдруг закричала она.— Нет! Пойдите вы все прочь! Ироды! Убили! — и она затряслась в истерике. Михаил Иванович еле отпоил ее водой, уложил в постель, прикрыв Ивановым полушубком.

— Не изводи себя, как-нибудь обернется.

Но она отвернулась к стенке.

Мыларщиков вышел из избы на цыпочках, тихо прикрыл дверь. Тоне сказал, чтобы не слышали Назарка с Васяткой:

— Кабы Гланька не помешалась али не сотворила с собой чего. Ты уж пригляди.

— А чо с ней?

— Ивана чуть не укокошили.

— Да ты что!? Да это как же так!?

Услышав историю, приключившуюся с Сериковым, Тоня со злой решительностью поджала губы, в глазах вспыхнули огоньки.

— Ах он душегуб распроклятый! Ах он поганая душа! Да я ему сейчас глаза выцарапаю, гужеед несчастный!

— Не разоряйся больно-то, детишки же. А потом — Батыз ведь и руки умоет: мол, я-то при чем?

— Все одно — он убивец!

— Он не он, тут твое дело десятое, без тебя разберемся.

— Это пошто же десятое? Али мне Гланька чужая? Да она мне заместо сестры родной. А Лука будет ходить хоть бы хны, человека со света сжил и будто так и надо!?

— Хватит! — нахмурил брови Михаил Иванович.— Не бабье это дело. И чтоб у меня ни-ни! А то всю обедню испортишь!

Заспешил в Совет, Кузьме наказал:

— С батятинского дома глаз не спускать. Чтоб тебе все видно было, а тебя нет. Дошло?

— Дошло, Михаил Иваныч.

... — Чего встал в двери и не заходишь? — спросил Швейкин Мыларщикова. Тот прошел вперед при общем настороженном молчании, устало опустился на стул рядом с Тимониным. По всему видно, не намеревался ни о чем рассказывать. Поэтому, когда Борис Евгеньевич сказал: — Продолжим, товарищи! — Дукат заявил:

— Возможно, товарищ Мыларщиков, объяснит?

Михаил Иванович взглянул на Швейкина, молча спрашивая его: отвечать или не отвечать? Борис Евгеньевич слегка наклонил курчавую голову. Мыларщиков встал и объяснил:

— Путевой обходчик на Высоком переезде подобрал мужика — с поезда сбросили. А тот мужик оказался моим соседом.

— Вот так, по-соседски,— усмехнулся Дукат.— А сосед не иначе забулдыга. И сведем потихонечку революцию к обывательским мелочам.

— Злой ты, однако, Юлий Александрович,— заметил Тимонин.— Ты хотя выслушай человека до конца.

— Может, это и по-соседски,— согласился Мыларщиков.— Только мой сосед, товарищ Дукат, не забулдыга, не надо кидаться словами. Он солдат, с войны еле живой вернулся. Так вот, к вашему сведению, у меня есть еще один сосед, вы его все знаете — барышник Лука Батятин. Оба они мои соседи, и по-соседски мне приходится заниматься обоими.

— Ну не интересно это, товарищи,— поморщился Дукат.

— Ты же сам просил! Я могу и сесть.

— Продолжай,— твердо сказал Швейкин.— А ты, Юлий Александрович, наберись терпения.

— Намедни контрики гуртовались на Нижнем, собирали золото, и такая петрушка, товарищи, что оба мои соседа руку тут приложили. Батятин взялся золото переправить в Катеринбург, выбрал для этого солдата Серикова, пообещал ему манну с неба. А Ваньша Сериков войну провел в окопах, капиталов не накопил, с хлеба на воду перебивается. И клюнул на приманку: Батятин пообещал ему хорошо заплатить. А в дороге его кто-то ограбил. И золото уплыло!

— Не иначе Батыз все и подстроил,— высказался Баланцов.— Хитрый лис.

— А кто их ведает,— сказал Алексей Савельевич.— Либо так, либо не так. Может, разбойники, может, зеленые балуются, всякие там дезертиры что-то пошаливать стали.

— Не будем гадать, товарищи,— возразил Швейкин.— Ясно другое — контрреволюция поднимает голову. Для нас урок. Пусть Мыларщиков до конца доведет это дело. Товарищ Рожков, сколько у тебя штыков?

— Какие там штыки! Слезы — сорок бердан да тридцать винтовок.

— Красногвардейцы на казарменном?

— Не все, Борис Евгеньевич. Только двадцать.

— Пусть остаются. Сам переходи на казарменное.

— Слушаюсь!

— Остальных на охрану заводов. Особенно динамитного. Смотри, Рожков, за динамитный головой отвечаешь.

— Вы извините меня, товарищи,— сказал Дукат.— Но мы не решили главного — что делать с заговорщиками? Я внес предложение: всех арестовать и начать следствие. Прошу поставить на голосование.

— Я тоже считаю: сидеть сложа руки преступно,— заявил Тимонин.— Но сразу прибегать к репрессиям? По-моему, нельзя. Нужно пойти к народу и честно рассказать ему о положении в Кыштымском заводе. По-большевистски честно. И нас поймут.

— Пузанов поймет — держи карман шире! — возразил Дукат.

— Пузанов силен не сам по себе, один он ничто, а вот когда за ним обыватель потянется — бед натворить может,— сказал Тимонин.

— Вот ты, Юлий Александрович, предлагаешь аресты,— включился в спор Швейкин.— Предположим, мы это сделаем. Думаешь, кыштымцы одобрят наши действия?

— Непременно!

— Ох, боюсь! Во-первых, это беззаконие. У нас пока вещественных улик нет. Собирались тайно? Собирались. Ну и что? Это еще не улика. Улики еще надо собирать, не пойман — не вор. А арестовать только по подозрению и еще потому, что у нас сила, власть — этим мы только себе навредим. Властью надобно правильно пользоваться. А то у нас некоторые грозятся кое-кому терем по бревнышку раскатать. Было ведь, товарищ Рожков?

— Каюсь, было...

— На Кавказе есть мудрая пословица: не вынимай сабли без нужды, а без славы не вкладывай. Мой сосед Седельников середнячок, таких в Кыштыме немало. Необдуманными действиями можем толкнуть его в союзники к Пузанову. Он уже и сегодня горюет, что англичанам дали под зад: мол, там был порядок, а тут грозятся терем по бревнышку раскатать. Вот и соображайте, что к чему. Можно ведь и в изоляции остаться. Только одно обязательно — бдительность, бдительность и еще раз бдительность. Так будем голосовать за предложение Дуката или ты, Юлий Александрович, снимаешь его?

— Настаиваю!

Дуката не поддержали. Он в сердцах крикнул:

— Они-то с нами нянчиться не будут! Они-то с нас с живых шкуры спустят!

— А ты не поддавайся! — улыбнулся в усы Баланцов.

Рожков схватил Мыларщикова за рукав, тревожным шепотом спросил:

— Оживет, кум-то мой?

— Спроси чо полегче.

— Вот не везет Гланьке! — мотнул головой Рожков и побежал перехватывать Тимонина, чтоб договориться об усилении охраны динамитного завода.

Ульяна

Ульяна любила ходить на митинги, где выступал Швейкин. Приходила и в Совет, видела — трудно достается Борису Евгеньевичу. Самую-то мелкую работу и делать некому. Народу бывает полно, а то заседают целыми днями — и поесть-то забывают, и воду-то в графине сменить некому, окурки убрать тоже надо. Женские руки нужны. Вот и решила девушка заделаться добровольным помощником Бориса Евгеньевича. И сразу стала в Совете необходимым человеком.

Ульяна внимательно приглядывалась к Борису Евгень-

евичу и в какой-то момент догадалась, что он серьезно болен. Это усилило ее привязанность к нему, а вскоре... Девушка даже испугалась нового чувства, но все равно ей радостно было видеть Бориса Евгеньевича каждый день. Она заметила — в кабинете у него нещадно курят. Швейкин кашлял, глаза наливались кровью от напряжения, а лицо становилось до того мученическим, что у Ульяны сердце разрывалось на части. Тогда она на сером листке бумаги чернилами крупно намалевала: «Курить здеся не полагается!» Приколотила бумагу над столом. Борис Евгеньевич сразу обратил внимание на новинку, улыбнулся и, встав на стул, поправил в слове «здеся» «я» на мягкий знак. И сказал:

— Так-то лучше будет!

Швейкин частенько перехватывал пристальные взгляды девушки и дивился тому, какие у нее чистые и большие глаза и ловил себя на мысли — приятно, что она всегда рядом. Она умела все делать незаметно и основательно. Бывало, оставит кабинет, на столе полный беспорядок. А вернется — на столе прибрано, карандаши на месте и оттото чены, бумаги сложены аккуратной стопкой. Словом, царит полный порядок. Постепенно Борис Евгеньевич привык к девушке. И вроде даже перестал замечать ее. Только однажды он подумал о ней, как о женщине, когда почувствовал на себе ее взгляд. Круто обернулся. Ульяна зарделась, стеснительно улыбнулась. Тогда он и обратил внимание на необычное выражение ее глаз, увидел, что она хорошо сложена, со вкусом одета. На ней черная юбка, спускавшаяся до самых щиколоток, а талия перехвачена широким лакированным ремнем. Белая блузка отчетливо выделяла округлые налитые груди. «Она же красавица!» — подумал невольно Борис Евгеньевич, радуясь своему открытию. И спросил себя: откуда же взялась в Совете Ульяна? Не иначе Григорий Баланцов прислал из своих заводских. Швейкин с благодарностью подумал о Григории Николаевиче, а при случае сказал ему:

— Спасибо, хорошую помощницу прислал.

— Какую помощницу? — удивился Баланцов.

— Ульяну.

— Нет, братишша, ошибаешься. Я тогда тебе сбрехнул да и забыл, извиняй за это. А Ульяна сама пришла. Разве ты ее не знаешь?

— Нет.

— Вот так фунт изюму! Да это же дочка Ивана Михайловича Гаврилова. Из-за речки который...

— Слесарь? Ну, ну, в шестом году он нам еще револьверы ремонтировал. Помню, как же. Мастер — золотые руки!

— На германской сгинул.

— Да, да,— проговорил Борис Евгеньевич, вспоминая.— А я его сестру Людмилу Михайловну встречал в Бодайбо, ее туда упекли. Вышла замуж за горного инженера, сын, помнится, у нее был. Так Ульяна — дочь Ивана Михайловича? Приятная неожиданность!

— А чо ты вдруг заговорил о ней?

— Да так, к слову пришлось.

— Ну коли к слову,— согласился Баланцов и понимающе улыбнулся.

Борис Евгеньевич нахмурился и сердито сказал:

— Не о том подумал, Григорий Николаевич.

— А ты откуда знаешь, о чем я подумал?

— По глазам вижу.

— Илья-пророк! Ну, а коли о том? Зазорно, что ли? Ты чо, навек бобылем остаться решил? Али в тебе все мужское умерло?

— Давай лучше об этом помолчим, а?

— Давай. Только от этого никуда не спрячешься.

Потом Борис Евгеньевич ненароком вспомнил, что первую в своей жизни листовку он откатал на самодельном гектографе еще в девятьсот третьем году. А привезла эту листовку из Томска Людмила Михайловна Гаврилова, сестра Ивана Михайловича, который был ору-

жейным мастером в боевой дружине, отец его добровольной помощницы Ульяны. Вот ведь как переплелось.

...Ульяна все собрание просидела в уголочке — про нее забыли. Тревожно на сердце от этих разговоров. Но смотрела на Швейкина и успокаивалась. Рядом с ним как-то светлее становится и чувствуешь себя увереннее.

Домой Ульяна вернулась поздно. Мать спала на печке. Вроде и не слышала, как вошла дочь. Но стоило тихонечко скрипнуть половице, как мать очнулась и спросила:

— Уль, ты, что ли?

— Я, маманя. Спи.

Ульяна прошла в горницу, плотно прикрыла дверь и зажгла лампу. Затем достала письмо, которое дал ей Борис Евгеньевич. С волнением принялась читать. Поначалу дрожь в руках унять не могла — любопытно же!

«...Вчера кончился срок моего батрачества, прожил полтора месяца, вернее около двух, так как и праздники (но не воскресенья) в счет не идут, заработав 19 с полтиной. Но зато, ой-ой, как достались эти денежки, и смешно кажется, когда люди работают восемь часов в сутки да говорят — тяжело. Работа работой, да харчи никуда негодны: чай с хлебом, хлеб с чаем, да жареная вода, да картошка — вот вся, почитай, пища. Все-таки работаю, и ни черта не делается, правда, живот от такой работы подтягивает. Ну это в счет не идет. И не так достается косьба, как пашня. Сушит земелька-то матушка, а на первый раз думаешь: велик ли труд за сохой ходить? А как перевернешь десятин десять, так усохнешь, аж, с позволения сказать, штаны держаться не станут. А как подраздумаешь, так невозможно жить здесь: и ни черта не заработаешь, а пропадешь на такой работе да в такой собачьей жизни».

Ульяна с трудом отрывается от письма. Никогда не была в чистом поле, привыкла к горам и лесу. В чистом поле, наверное, раздолье. А как пашут, видела. Отец,

бывало, огород сабаном на Сивке пахал. Земля отваливается свежая и черная, с дождевыми червями, а по борозде важно расхаживают грачи, не боятся человека. Девушка силится представить Швейкина за плугом, его усталое лицо. Ничего не получается. Лицо дробится, и вот уже в пахаре она узнает своего отца.

«Ныне, в сентябре, перед самым отъездом из Соколово, отвозил охотников. Семейство большое, живут хорошо, мужиков много. С хлебом убрались рано и поэтому поехали на две недели раньше обыкновенного, раньше всех: цена на белку нынче ожидается хорошая. Ну, а потом другая цель — сохатых подсмекнуть, тоже нынче в цене. Отправляются месяца на два. Четверо — три брата с приемышем. Старик тунгус Николай, прижившийся в деревне с малых лет, и я сопровождаем их. Харчу берут, стало быть, много — на пятерых лошадях везут».

И читает Ульяна письмо, как занимательную книгу. А главное не выдуманный там человек, а хорошо известный ей — Борис Евгеньевич.

Наконец она разделась и, погасив лампу, нырнула под прохладное стеганое одеяло. Закрыла глаза и представила черную чащу леса, которая даже потемнее той, что за Сугомак-горой. И едет по чаще Борис Евгеньевич, сильный и смелый, с рогатиной за плечами. Ласково улыбается и зовет Ульяну к себе. Она рада бы к нему да ноги вроде чугуном налились. Тянет руки ему навстречу, но дотянуться не может. А он едет и едет навстречу и никак не доедет...

Ерошкин потерял покой

Хотя и большую площадь занял Кыштымский завод, но народу в нем жило не так-то уж и много. Поэтому почти все знали друг друга, переплелись в родстве. Сериковых,

Ичевых, Мокичевых, Мыларщиковых, Ерошкиных не сочтешь сколько. Поэтому каждая новость разносится по заводу с быстротой молнии. Обрастает подробностями, которых и не было.

Что ж удивительного, если происшествие с Иваном Сериковым вызвало лавину всевозможных слухов. Чего только не сочиняли! Будто Сериков ограбил Батятина и хотел скрыться, да на него самого налетела чуть ли не целая банда лесных бродяг. Будто было жуткое побоище, и Ивана крепко помяли. А то будто бы Иван не украл золото, а кто-то другой, но Иван вступился, вот ему и накостыляли, как еще не убили. Над всем этим можно было бы только посмеяться, если бы кто-то заинтересованный не пустил грязный слушок. Мол, Ванька Сериков и Мишка Мыларщиков — дружки, водой не разольешь. Мыларщиков же — правая рука Швейкина. Почуяли большевики, что их песенка спета, вот и припрятывают золотишко себе на черный день. Послали Серикова в Екатеринбург, готовятся туда увезти еще кое-что. Вот вам и советская власть и как она радеет о народе и о себе. Народу — голод, себе — золото и барахлишко. Доползли эти слухи и до Аркадия Михайловича Ерошкина. Аркадий Михайлович заинтересовался фамилией пострадавшего. Сериков, Сериков... Позвольте, но это же, если память не изменяет, сосед Луки Батятина. А золото Ерошкин вручил Луке, потребовав от него поклясться на кресте, что не будет лихоимничать. Сказал Лука, что у него на примете есть верный человек, сосед, бывший солдат... Что такое? Выходит, это их золото похитили, то самое, которое Ерошкин обещал Белокопытовой, а через нее самому Ордынскому?

Аркадий Михайлович потерял покой. Как назло, исчез Лебедев, как в воду канул. Ерошкин стал караулить Батятина на базаре, но Лука, видимо, отсиживался дома. Что же делать? И погнала заботушка Аркадия Михайловича к Батятину темной ночью. Колотил, колотил

в окно Лукашкиной крепости, но разбудил только волкодава. Лука, может, и не спал, да не отозвался. И убрался Ерошкин не солоно хлебавши.

Не повезет так не повезет. Собрали такое богатство — и все коту под хвост. Может, те же большевики подкараулили и прибрали к рукам. Но не должно! Не Лука ли словчил? С этого станется! А ведь на кресте поклялся барышник, неужто против бога пошел? Если это так, то Аркадий Михайлович сам посчитается с ним! Ерошкин заглядывал в Совет, терся среди посетителей — ловил слухи, чтобы выцедить из них истину. И столкнулся с Мыларщиковым. Тот смерил Аркадия Михайловича подозрительным и в то же время насмешливым взглядом. Даже заныло под ложечкой. «Брр,— поежился Ерошкин.— До чего же довела меня эта история с золотом. У Мишки не глаза, а шилья!»

Мыларщиков поманил Ерошкина пальцем, того даже покоробило от такой фамильярности, и сказал усмешливо:

— Давненько не виделись. Меня, грешным делом, подмывало: где, гадаю, Аркадий Михайлович? А он жив и здоров. Покалякаем?

Зашли в комнату-боковушку. Ерошкин снял шляпу и посмотрел, куда бы ее пристроить. Гвоздя не нашел. Повесил на рукоять трости, а трость, пристроил между коленей.

— Охота узнать,— начал Мыларщиков, нацеливаясь цепким взглядом прямо в глаза собеседнику,— чо это вы зачастили к Евграфу-то? Вроде раньше не дружили.

Ерошкин пересилил себя и улыбнулся:

— Удивительно! Стоило мне встретиться с Ордынским — вам известно. Стоило навестить родственника — вы и об этом знаете! Да вы прямо Шерлок Холмс! У вас определенно сыщицкий талант!

— Не знаю... Вы же, извините, врете: Евграф вам никакая не родня. Разве что седьмая вода на киселе

— Вполне возможно. Но ведь в трудные времена вспомнишь и самых дальних родственников. Зябко одному. Как говорил поэт, и некому руку пожать.

— Не сказал бы. Там было кому пожать. Было ведь?

— Само собой. А что, товарищ Мыларщиков, вышло постановление: больше трех не собираться?

— Собирайтесь на здоровье. Евграф-то хоть чаем вас угостил?

— Не спрашивайте, Михаил Иванович, еле чай выпросили. Скупердяй, каких поискать!

— Самовар-то, говорят, у него ведерный?

— До чего же вы осведомлены точно, поражаюсь!

— Представляю, как вы нам косточки промывали. Ну никак не ожидал от вас, Аркадий Михайлович, прямо в мозгах моих не умещается. Левый эсер Ерошкин и вдруг из одного самовара хлещет чай — с кем бы вы думали? — с контрой!

— Любите же вы сильные выражения. Был. Пил чай. В жилетку друг другу поплакались да разошлись.

— И вы плакались?

— Господь с вами, Михаил Иванович! Я только слушал и на ус мотал. Может, когда-нибудь на досуге и опишу — занятно будет почитать.

— А кто там с шапкой по кругу ходил?

— С шапкой? По кругу? — удивился Ерошкин.— Чего бы это ради?

— Не ходили, значит, с шапкой?

— Бог мой! Что в нее соберешь! Евграф скупердяй, Пузанова да и других вы основательно потрясли.

— Про Серикова, наверно, слыхали?

— Слухов полон завод. Всяких. Может, правду мне скажете?

— Гляди какой правдолюбец! Слышь, Аркадий Михайлович, намедни вы к Батятину наведывались...

— К Батятину? — воскликнул Ерошкин. — Ну, батенька мой!

— Нет, я серьезно. Да главное — ночью...

— Ночью я имею обыкновение спать. В лунатиках не состою. Обознались, Михаил Иванович, определенно обознались. Оно и немудрено — весенние ночи темные. Вот и попутали меня с кем-то.

— Ах, какая незадача,— насмешливо развел руками Михаил Иванович.— Ну извиняйте тогда. Можно один советик дать?

— Сделайте одолжение.

— Сделаю. Не якшайтесь-ка вы с мироедами. Еще запачкаетесь. А вот отмыться будет трудно.

От Мыларщикова Аркадий Михайлович ушел в смятении. Мыларщиков, оказывается, знает о нем все или почти все. Даже разведал, какой у скупердяя самовар. И подкараулил, варнак, у батятинского дома. И ночь была темная, а засекли. Ну, дражайший Аркадий Михайлович, мотай на ус — следят! Шаг шагнешь, а Мишке Мыларщикову уже известно. Слово скажешь, а оно летит к нему в уши. Как волка матерого обложили.

Не спится Аркадию Михайловичу, ворочается с боку на бок. Этого бы Мыларщикова в бараний рог согнуть. На войну не взяли, у печки стоял — медь войне нужна была не меньше динамита. Попал бы в окопы, глядишь, оторвали бы рыжую голову. А впрочем, сейчас на его месте другой объявился, еще лютее. Борьку Швейкина царь в Сибири гноил — а выжил! Дуката сам сатана прислал. Нет, что ни говори, прав Ордынский. Житья с ними не будет, надо англичан вернуть. Самый верный выход. А с золотом пролетели. Что скажет Ордынский, что подумает Белокопытова?

Ворочается Аркадий Михайлович, завидует жене, которая похрапывает рядом. Злится. Спит, дела ей нет до его мучений!

В конце концов утомился Ерошкин, сморил его сон. Но что за наваждение? Кто-то потихоньку долбит, как дятел, оконное стекло. Аркадий Михайлович спустил но-

ги на пол, нащупал тапочки и в подштанниках прошлепал к окну. Из комода достал на всякий случай револьвер — неужели Мыларщиков или его люди? Откинул шторку. Ничего не видно. Снег согнало, земля черная, звезд на небе нет. Ночка прямо для разбоя. Прильнул к стеклу, силится разглядеть. Ага, с улицы к окну прильнула чья-то бородатая рожа.

— Кто? — прохрипел Ерошкин, боясь говорить громко— дочерей разбудишь, жену на ноги поднимешь. И вдруг узнал Степана Трифонова.

Аркадий Михайлович набросил на плечи старый полушубок, сунул босые ноги в боты, положил в карман револьвер, затем впустил Трифонова в сени и прикрыл дверь. В избу не пригласил. Не велик барин.

— Пошто в избу не пущаешь?

— Спят. Выбрал время, когда приходить.

— А я ночная птица филин,— хохотнул Степан, и Аркадий Михайлович уловил сивушный запах.— Днем мне ходу нет.

— Зачем явился?

— Слышь, Михайлыч, налей стакашек, нутро горит. Байку расскажу — закачаешься!

— Валяй-ка ты, брат, восвояси. По тебе Мишка Мыларщиков сохнет, хочешь и меня за компанию?

— Я из его башки рукомойник сделаю, помяни мое слово. Ладно, ты, как мой Евграф — за полушку на сопле удавиться можешь. Плевал я на твой самогон. Без тебя обойдусь.

— Ну и с богом, я спать хочу.

— Не колготись, не за самогонкой я к тебе. Держись за стенку, а то моя весть тебя с копыток собьет! Знаешь, кто золото стибрил?

— Лука?

— Дурак твой Лука, мозги у него набекрень. Выкормыш твой — Лебедев, тоже шибко грамотный, вроде тебя, вот прибрал золотце-то к рукам.

— Кто, кто? — Аркадий Михайлович действительно оперся рукой о стенку.— Думай, что говоришь!

— Пусть лошадь думает, у нее голова большая. Сколько же там было?

— Нет, ты серьезно?

— Тьфу, какой ты бестолковый! Ну зачем бы я к тебе среди ночи приперся? Евграф прислал — скажи Ерошкину. Евграф-то с ума сходит. Хоть мало своего дал, а все же дал.

— Да я его в грязь втопчу, дворянчика плюгавенького. Да я его в порошок сотру!

— Чо ты заякал-то, Михалыч? Худо, что ли? Верный человек сказывал — рванул Лебедев за границу. Может, в Индию, может, в Париж. Сколько же там было?

— На две жизни хватит. И давай уходи. Уходи, уходи. Не до тебя, понимаешь.

— Ну хоть полстакашка?

— Ни грамма!

— Ты, я погляжу, хуже моего Евграфа.

Степка ушел.

Лебедев! Ах ты, Иуда Искариотский! Чтоб тебе в огне сгореть или в воде утонуть. Поил-кормил, от Мишки Мыларщикова и Дуката хранил. И вот благодарность — ограбил! В душу наплевал, совестью попустился. Да была ли она у него? Гоголем ходил, в грудь себя бил — столбовой дворянин! Прохвост и подлец! Завалится куда-нибудь в Париж или в самое Америку и будет жить в свое удовольствие, посмеиваться над Аркашкой Ерошкиным: прохлопал золото-то, праведник, борец за святое дело, вот и живи в навозной куче, коль бог ума и сноровки не дал! Дрожи перед Швейкиным да Мыларщиковым, жди своего ненаглядного Ордынского с его беспроигрышной перспективой.

Ерошкин от злобы и обиды приткнулся к стене и заплакал злыми слезами.

Конец шатуна

Отец Кузьмы Дайбова добывал древесный уголь. Уезжал, бывало, Прокоп Климыч в лес весной, когда березки окутывались зеленой дымкой. Забирался в глушь, за Сугомак-гору, а то и за Егозу, ближе к Горанихе. Не один, с артелью. Закладывали сразу несколько кабанов. Рубили сосны, распиливали их на чурки и сооружали особую поленницу, которую наглухо закрывали дерном. Горели чурки не ярким пламенем, а тлели. Не дай бог, если где-то через дерн просочится огонь. Его сразу закидывали землей. Заложат несколько кабанов, дежурят днем и ночью. Томили, а не жгли чурки. Поэтому место, где жгли кабаны, называлось томилками. Отец частенько брал Кузьму на томилки.

Любил мальчик вечера у балагана. Костер раскладывали большой, пламя прыгало до макушек сосен. Темнота пряталась в чащу. Лошади паслись за гранью этой темноты, зато слышные — позвякивали боталами. Мужики рассаживались возле костра — на чурбаках, камнях, прямо на земле, подстелив под себя дерюжку. На лицах дрожит красный свет, путается в бородах и усах. Байки плетут — заслушаешься. Случалось, что Кузьма, согретый теплом костра, засыпал и отец бережно уносил его в балаган.

Иногда приезжали на томилки Седельниковы — Иван Иванович со своим старшим сыном Димкой, ровесником Кузьмы. Сам-то Седельников редко жег кабан, у него другой промысел — зимой он на своих конях вывозил уголь из тайги на завод. С Прокопом Дайбовым у них всегда был договор: Прокоп готовит уголь, а Седельников вывозит. Вот и приезжал Иван Иванович на томилки, места посмотреть, приноровиться загодя, чтобы зимой не блуждать. Мужикам помогал, по лесу шастал — ягоды и грибы собирал, охотился.

Вот уж радовался приезду Димки Кузьма! Тот в лесу, как кутенок в огороде — куда ни сунется, везде зелено! А Кузьма пообвык, навострился. Однажды собрались за смородиной, Кузьма да Димка. Она темные да влажные места любит. Речка Сугомак в кустах ольхи, черемухи и тальника пряталась. В самой-то глуши и росла смородина. Насобирали полные корзины, наелись до тошноты, зубы аж заболели. Вылезли на еланку, такая веселая попалась еланка — ромашками пенится, солнцем залита. Хотели полежать да увидели серых щенят.

— Мить, гляди-ко! — крикнул Кузьма.— Кутеночки!

Их было три. Друг на друга лезли, опрокидывались — играли. Ребята подошли поближе. Кузьма хотел взять одного, а тот ощерил острые клыки, серая шерсть на загривке дыбом встала. Димка оглянулся, и язык у него отнялся. Хотел предупредить Кузьму, что тикать надо, а сам только побелевшими губами шевелит беззвучно. Неподалеку, шагах в пяти, волчица стояла, зубы скалила, хвост поджала — вот-вот кинется на ребят. Наконец Димка совладал с испугом да так завопил, что Кузьма подпрыгнул. И рванули оба прочь, позабыв корзины с ягодами. Миновали еланку, летели через березняк, продирались сквозь чащу, царапая о сучья лица и руки. А когда отдышались, то поняли, что заблудились. Целый день ходили вокруг да около, а на балаган напасть не могли. Да ладно набрел на них невзначай один из кабанщиков.

Долго потом ребята вспоминали тот случай.

Кузьма на завод подался рано, лет четырнадцати. Не по годам рослый и смышленый, он по душе пришелся Савельичу. Прокоп Климыч свалился в постель — паралич разбил. Стал Кузьма в семье кормильцем. Димку отец в литейку не пустил, в помощниках у себя оставил — за лошадьми ухаживать, уголь возить, на покосе пот лить.

После революции Кузьма пошел было записываться в Красную гвардию да перехватил его Мыларщиков: «При мне будешь. Кто у тебя есть еще из дружков? И их

давай сюда». Привел Кузьма Димку да своего дружка Ганьку Бессонова.

Вот и стали трое друзей — Кузьма, Димка и Ганька — всем им уже по восемнадцати — у Михаила Ивановича Мыларщикова вроде бы дружинниками. Куда ни пошлет, идут беспрекословно. Особенно после того, как Михаил Иванович вручил им по револьверу. В каждой дырочке барабана по патрону, итого семь пуль. И еще научил их мало-мальски стрелять. Остальное сами одолеют.

У Димки, правда, заминка вышла. Как-то отец пришел домой взвинченный, он в последнее время часто таким был — это после того, как у них брали лошадь для поездки на село. Попался под руку младший Иван Иванович — получил шлепок по заднице. Увидел Димку за чисткой револьвера, вовсе разошелся:

— Чтоб я больше этого не видел! Хватит путаться в политике!

— Тять, а ты бы не орал, а то Оксану испугаешь.

— Что-о?!

Иван Иванович, разъяренный, схватил с полатей ремень, намотал на руку и на Димку. Тот встал, тоже решительный, готовый постоять за себя. Ростом с отца, плечи, правда, жидковатые, но кулаки — гири.

— Тронешь, тять, уйду из дому!

Отец изо всех сил ударил Димку вдоль спины. Хотя и больно было, но тот не крикнул. Молча собрал револьвер, сунул в карман и ушел. Пришлось Михаилу Ивановичу просить за Димку. Иван Иванович упрямо наклонил голову, на Мыларщикова и не смотрел. Слушал, слушал и спросил с обидой:

— Пошто же вы изгаляетесь над мужиком?

— Бывает, Сашку Рожкова занесло, как сани на раскате, попало ему за это. Теперь всю жизнь, что ли, поминать об этом будешь? Ты уж, Иваныч, Димку не забижай, хороший он парень, а ты его ремнем по спине.

— Это мое дело!

Так они ни о чем и не договорились. Но когда Димка, по совету Михаила Ивановича, вернулся домой, отец не упрекнул его ни словом, ни взглядом и буйство свое больше не показывал. Но холодок между ними остался.

Кузьме с помощью мальчишек удалось выследить Степку Трифонова. Он появился у брата Евграфа, чтобы помыться в бане. Там Кузьма брать его не отважился. Решил проследить за ним, узнать, где он днюет и ночует. В полночь Степка брякнул калиткой, тенью метнулся через улицу и темными переулками направился к перевалочной базе, потом к Депо, оттуда на Сугомакскую дорогу, к окраинным домикам Верхнего завода. Забрался на чердак Анисьиной избушки — жила в избушке на курьих ножках глухая бабка Анисья. Вот, оказывается, где облюбовал себе Степка Трифонов пристанище. В холодное время спал, наверное, в избе, а чуть потеплело — перебрался на чердак.

Собрал Кузьма своих друзей на совет, рассказал про Степкино убежище. Судили-рядили и додумались брать контру сегодня же ночью. Ганька спросил:

— А Михаил Иваныч?

Поскребли затылки. Вроде и сказаться надобно, да уж больно хотелось свою самостоятельность проявить. Они, может быть, и пошли бы к Мыларщикову да некстати к ним прилип Шимановсков. Он приметил, что парни заговорщицки шушукаются, а любопытен он был не в меру, и пристал — возьмите меня в компанию и все!

— Да куда мы тебя возьмем-то? — наивно отводил Кузьма.— Мы на вечерки, а ты ж, дядя Вася, перестарок!

— Э, хлопцы, старого горобца на мякине не проведешь! Да я Сибирь прошел, таких, как вы, насквозь и глужбе вижу. Как гляну, так сразу и вижу. Берите меня, берите, лишним не буду. А совет добрый подать могу.

Что будешь делать? Прилип, как банный лист, не оторвешь.— Ладно, —сдался Кузьма,— может и правда хороший совет даст.

— Только тихо, поперед батька не соваться, а то дело испортишь.

— Ха, батьки! — усмехнулся Шимановсков.— Знавал я таких сопливых батек!

Ночью подкрались к избушке. За дорогой лес чернеет, над ним звезды мигают. Избушка в темноте, как в сказке, будто на курьих ножках. Вот-вот баба Яга-костяная нога на метле прилетит. Кузьма распорядился:

— Ты, Димка, у окна ложись. В случае чего, сам знаешь... Гань, а ты с той стороны, от леса, стереги. Я полезу на чердак, меня покараулит дядя Вася. Слышь, дядь Вась?

— Хлопчики, а ежели я здесь посторожу? Все видно.

— Тогда шагай обратно,— рассердился Кузьма.— Сибирь он прошел...

— Молчу, молчу, уговорили...

Тихо разбежались по местам. Кузьма и Шимановсков остановились возле деревянной лестницы, ведущей на чердак. Огляделись, прислушались. Тихо. Кузьма приготовил револьвер, попробовал первую перекладину лесенки — ничего, дюжая, не скрипит. Вторую — тоже крепкая. Наверно, Степка все перекладинки выверил, чтоб не скрипели. Каждый шорох в ночи далеко слышен. Добрался Кузьма до лаза на чердак, дух перевел, сердце унять не может — колотится сильнее обычного. Одним разом нырнуть в лаз, сразу лечь, чтоб не маячить в проеме. Степка, конечно, все обдумал — будет бить по проему не целясь. Раз — и Кузьма распластался на сухой пыльной земле чердака. Ни звука. Значит, спит. Это хорошо.

— А ну вставай, вставай да живо! — крикнул Кузьма, нацелив в черноту чердака револьвер.— Вставай, говорю!

Никакого ответа. Пополз вперед, наткнулся на лежанку. Никого, холодная. Неужели сбежал? Почуял беду и скрылся? Пока Дайбов обшаривал чердак, на улице послышался голос Шимановскова:

— Ага, прилетел, голубь сизокрылый! Руки в гору!

И крик сразу же:

— А-а-а!

Глухой удар. Кто-то кому-то по скуле врезал. И крик Димки:

— Стой, гад! Стрелять буду!

Кузьма кубарем скатился с чердака, ногу в коленке ушиб, но не до боли тут!

А вышло так. Привалился Шимановсков к стене избушки спиной и мурлыкал что-то себе под нос. Ребячью затею всерьез не принимал, она его просто забавляла. Все разнообразие! Думал — романтику ищут хлопцы. И почему бы с ними не встряхнуться? А тут этот человек показался, ногой на первую перекладину ступил. А на чердаке Кузьма. Тогда Шимановсков выступил вперед и потребовал поднять руки в гору. Посчитал — человек выполнит его команду и комедия будет сыграна. А человек тот был на войне, научился убивать и знал всякие приемы. Если бы он сразу не растерялся, то худо бы пришлось Василию Шимановскову и едва ли бы увидел он еще раз восход солнца. Но Степка растерялся, не ожидал, что обнаружат его берлогу. Он поначалу влепил Шимановскому по скуле, а потом остервенело саданул кулаком под дых. Василий кулем свалился на землю, успев только ойкнуть. Из засады вылетел Димка. Степка кинулся к лесу, напоролся на Ганьку. Тот поднял стрельбу и, кажется, попал. Во всяком случае, Димка божился, что видел: Трифонов вильнул в сторону, как пьяный, и упал. Кузьма потормошил Шимановскова за плечо, тот застонал — значит, жив. Кузьма бросился к ребятам. Димка и Ганька стояли возле избушки и не знали, что делать дальше.

— Ну что? — спросил Кузьма.

— Вроде упал,— сказал Димка.— Ей-богу, упал. Сам видел.

У Ганьки зубы выбивали чечетку. Кузьма, взведя ку-

рок, двинулся к дороге, где, по словам Димки, упал Трифонов. Димка предостерег:

— Гляди, как бы не перехитрил. Притворится, а потом пальнет.

Кузьма медленно продвигался вперед, готовый в любую минуту распластаться на земле. Друзья крались следом. Напружинившиеся, с обостренными зрением и слухом.

По ту сторону дороги лежал на боку Степан, поджав под себя ногу. Отбегался. Кузьма обшарил карманы, нашел револьвер и какую-то бумагу. Ганька, поняв, наконец, что убил человека, вдруг бросился наутек.

— Чо это он? — удивился Димка.

— Испугался.

Шимановскова еле привели в себя. Он охал и стонал — сильно его поддел Степка. Правый глаз заплыл.

— Чтоб я еще раз с вами связался? Никогда! — обидчиво заявил Шимановсков.— Да я вас теперь за сто верст обходить буду. В Сибири уцелел, а вы меня тут загубите.

Димка спросил Ганьку:

— Ты чо припустился-то?

— Дим, так ведь я кокнул человека.

— Выходит, кокнул, а он, пся крев, меня чуть не кокнул. Вот и квиты.

Ганька спать в ту ночь пошел к Дайбовым. С Кузьмой рядом все же поспокойнее. На другой день Михаил Иванович обратил внимание на Шимановскова и даже присвистнул от удивления: ой-ей-ей, ничего себе синячок кто-то под глазом ему припечатал. Зрачок-то светится через маленькую щелочку.

— Все из-за твоих хлопцев,— пожаловался Шимановсков.— Втянули меня в авантюру.

— Куда, куда? — не понял Мыларщиков.

— В авантюру, куда же еще. У меня и кишки еще в себя прийти не могут.

— Вечно у тебя что-нибудь!

— А ты своих не распускай. Сыщики, понимаешь, выискались. Наты Пинкертоны.

Михаил Иванович заставил Шимановскова толком рассказать о ночном происшествии. Ах, горячие головы, самостоятельности захотелось. А ведь Степка мог их перестрелять как рябчиков. Он солдат матерый. Мыларщиков вызвал всех троих, осуждающе покачал головой.

— Ну и архаровцы! Розгами бы вас по одному месту да в кутузку суток на десять. Мне-то почему не сказали?

— Сами хотели,— вздохнул Кузьма.

— Сами с усами! Да он же вас мог запросто перестрелять, пикнуть бы не успели. Что бы тогда было, соображаете? А не подумали, что он нам нужен был живой?

Ребята молчали. Кузьма протянул Михаилу Ивановичу бумажку. Очередное подметное письмо, на этот раз Тимонину: мол, я тебя буду преследовать, ты так и знай. Отпреследовался.

— Да, обидели вы меня, а больше того огорчили. Я-то на вас надеялся! Придется сдать оружие, не нужны мне такие помощники.

И Мыларщиков поспешил доложить Борису Евгеньевичу о случившемся.

Глаша да Иван

Глаша, Глаша, сколько же тебе лет? В десятом году было двадцать, сейчас, стало быть, двадцать восемь. А что ты видела на своем сиротском веку? Было всего светлых-то два годочка — это сколько с Иваном прожила. Но угнали милого на войну — и не жизнь наступила, горе горькое. Дарьюшку потеряла, Пузанов обижал, голодала и холодала, Ивана ждала. Старухи шипели — сгиб твой Ванька, прибрал его к себе господь-бог. Не

жди! А ты ждала. Батятин ластился, сытую жизнь обещал, лишь бы принимала его по ночам. А ты ждала Ивана. Только одна Тоня, добрая и хваткая, была заместо родной сестры. Согревала, когда было холодно, кормила, поила, когда есть было нечего, заступалась, когда обижали злые люди. И дождалась ты светлого праздника — как долгожданный весенний дождик, свалился откуда-то Иван. Да что откуда-то — чуть не с того света. Расцвела снова Глаша, как в первый год замужества. Что там нехватки, когда Иван рядом, похудевший от ран, посуровевший от испытаний, но свой, родной и такой же ласковый, как и прежде. Глаша прямо не дышала на него, глядела и боялась — а может, это все приснилось? Очнется от сладкого сна — и ни Ивана, ни счастья. До того истосковалась душа по человеческому теплу да такому, какое никто, кроме Ивана, ей дать не мог! Ночью проснется, слушает спокойное дыхание мужа и плачет счастливыми слезами. Никогда и никому не отдаст она свое счастье, никто не посмеет отнять у нее Ивана! Михаил Иванович звал на свою работу — это опять стрелять-то? Упаси бог! На динамитный сторожем собирался — еще чего? Этого не хватало! В прошлом году так рвануло среди ночи, земля ходуном заходила, от сторожа один кисет остался. Дождутся весны, огород засадят, за лето всякой лесной ягоды наберут — проживут! Дитенка нового заимеют, можно опять Дарьюшку, а лучше сынка русоволосого, как Ваня.

Глаша, Глаша, есть в твоих глазах еще слезы? Нету слез, выплаканы. Погас румянец — новая беда хуже старой пришибла. Со старой смирилась, привыкла, а эта, как снег в июньскую жару. Застудила душу, помутила разум. Не будет Ивана, не будет и ее, Глаши,— ляжет рядом с ним. Сидит день на лавке, в окно смотрит и ничего не видит.

— Глань, а Глань, ты хоть поплачь,— печалится Тоня Мыларщикова.— Ну поплачь, сиротинушка моя.

Молчит Глаша.

— Да очнись ты, наконец, чертова девка! Вот возьму кнут да почище Пузанова отделаю! — потеряла терпение Тоня.— Виданное ли дело так себя распускать?! Да жив твой Ванька, жив, слышишь?! Плохо ему, но жив! Дура ты неотесанная! Вставай, говорю тебе, чай будем пить. Ох, горе ты мое луковое!

Глаша впервые за весь день осмысленно посмотрела на Тоню и спросила:

— Чо ты сказала?

— Чай будем пить, жив твой Ванька.

— Жив? — Губы у нее перекосились, дыхание замедлилось.— Пойду к Ивану. Буду ему сестрой милосердия. Пустят, поди?

— Пусть только попробуют отказать! Живо устрою им баню!

Ушла Глаша, опустела сериковская избушка. Закрыла ее Тоня на железный замок, чтоб люди чего не тронули. Буренку увела к себе во двор — несподручно на два дома хозяйствовать.

Иван лежал в отдельной палате, Глашу туда не пустили. Дородная тетенька в белом халате, в очках категорически заявила:

— Здесь больница, а не заезжий дом.

Как станешь перечить этой сердитой женщине? Глаша поглядела на нее с грустным удивлением и пошла к выходу. До того скорбный был у нее вид, такая беспомощная и беззащитная она была, что проходивший мимо доктор Юлиан Казимирович обратил на Глашу внимание и спросил:

— Пани что-то хотела спросить?

— Муж у меня... Сериков Иван...

— А, тот жолнеж!

— Я бы сестрой милосердия... Возле него... Никому бы не помешала...

Доктор разрешил остаться. Она не знала, как его и

благодарить. А тетенька в очках вдруг превратилась в милую, обходительную женщину, и все устроилось. Глаша ухаживала не только за Иваном, но и за другими больными. Часто садилась у койки мужа, прижимала руки к груди и неотрывно смотрела на него. Непривычен был, чужой. Стриженая голова плотно укутана бинтами. Под глазами синие мешки, скулы выпирают — щеки-то ввалились. Порой Глаша ловила себя на тревожной мысли: Иван ли это? А он метался в беспамятстве, скрежетал зубами, иногда матерился. Кормили его насильно — разжимали ложкой зубы и вливали в рот по капельке бульон. Аккуратно, в одно и то же время, появлялся Юлиан Казимирович. Садился на табурет, а Глаша отходила к окну. Доктор щупал на вялой Ивановой руке пульс, тонкими длинными пальцами приоткрывал у больного веки. Затем некоторое время сидел неподвижно, обхватив рукой крутой подбородок. Думал. А Глаша про себя шептала: «Думай, миленький, хорошенько думай. Будь ласковым, поставь моего Ивана на ноги, век буду бога за тебя молить, вечной должницей буду — вылечи только моего Ивана!»

Доктор порывисто вставал и уходил, не сказав ни слова. Поначалу она побаивалась его, не то, чтобы побаивалась, вернее — робела: смущала его неразговорчивость. Молчит и молчит, ничего не говорит ей про Ивана. Издалека приехал сюда, нерусский, чужой веры. Боялась Глаша, что надоест доктору возиться с Иваном. Плюнет на все и не будет лечить. И по утрам с опаской гадала — придет или нет? Но Юлиан Казимирович по утрам появлялся в срок — хоть часы сверяй. Поблескивает очками, неизменно пугая Глашу молчаливостью.

После перевязки Иван лежал измученным, совсем посеревшим. В чем душа держалась — и на живого-то перестал походить.

Однажды Иван неожиданно для всех открыл глаза и некоторое время осмысленно рассматривал белый пото-

лок. Соображал, где находится. Потом скосил глаза на Глашу и вроде бы золотая искорка блеснула в зрачках.

Глаша онемела: господи, неужели очнулся? Выкарабкался? Иван что-то прошептал. Она наклонилась к нему низко-низко, почти прильнула ухом к губам.

— Говори, говори, миленький...

— Глашенька... Глашенька...

— Чо ты, Вань?

— Прости... Глашенька...

Это «прости» насмерть перепугало ее. Со всех ног кинулась искать доктора. Скорее, скорее, лишь бы не опоздать. А сердце застряло в самом горле. Юлиан Казимирович осматривал больного, но бросил все дела и поспешил к Серикову. Пощупал пульс, поймал на себе взгляд Ивана, уловил золотистую искорку в его зрачках и улыбнулся, так это по-свойски и радостно. Глаша, хотя и сквозь слезы, впервые разглядела, что доктор совсем молодой, остроносый и белокурый. И улыбка по-детски светлая. А она боялась его, дурочка.

Юлиан Казимирович сказал:

— Жить останется твой коханый. И вытрите, пожалуйста, слезы, пани.

Пани! Никто не называл ее так, а доктор вот уже несколько раз. Звучит хорошо, приятно. Коханый тоже. Такое мягкое, ласковое слово — сердечное, видать. Глаша благодарно улыбнулась доктору.

Как-то она засиделась возле Ивана допоздна. Спросила:

— Вань, а кто это тебя по голове-то?

— Почем я знаю? Сейчас вот соображаю. В вагоне почти одни бабы ехали. Покурить я захотел, подхватил баульчик да в тамбур подался. Бумажка из кисета у меня выпала, нагнулся я и вот что в мозгах-то осталось: белые бурки, с черными осоюзками и с такими же черными ленточками на голяшках. Хотел оглянуться: думаю, кто бы это за мной увязался? Тут он меня и треснул.

— Ирод! Я бы ему всю рожу поцарапала.

— Ай! — улыбнулся Иван впервые после того, как пришел в себя. — Заяц-хваста!

— А чо? — хорохорилась Глаша. — Думаешь, испугалась бы?

— Да ты же у меня...

— Не смейся. Слышь, а в бауле-то что было?

— Лука сказал — точильные круги. Мол, у него там знакомый точильщик. Жаловался — кругов нет.

— Брешет гад. Ну можно ли так по-соседски-то?

— А что, Глань?

— Так ведь весь Кыштым судачит — золото было в бауле.

— Золото? — приподнялся на локтях Иван. — Какое золото?

— Лежи, лежи, миленький, доктор не велел тебе вставать. Мало ли чо судачат люди, а ты не слушай.

— Нет уж, договаривай!

Глаша все и рассказала, что слышала от Тони и Михаила Ивановича. Иван вдруг замолчал. Минута проходит — молчит, полчаса — молчит, час — молчит. Глаза в потолок вперил, и такая тоска в них. Глаша перепугалась:

— Да ты чо, Вань? Плохо тебе?

— Выходит, обманул меня Лука,— глухо отозвался он. — Круги точильные. А я-то, лопух, ухи развесил. Лука знал про золото, и его дружки окаянные знали. Кто-то из его дружков и хотел меня на тот свет спровадить. Постой, а не тот ли варнак, что у Депа мне револьвер под нос совал?

— Успокойся ты, ради бога. Нехай с ним, с тем золотом. Жив и ладно.

— Нет, Глань, не нехай. С золотом, может, и так, не мое оно и от него одна зараза. Но пошто же меня Лука обманул? Скажи он, что там золото, я бы поостерегся. А то под такой удар меня подвел.

Приходили навещать больного Мыларщиковы. Принесли парёнок. Тоня специально сделала. Брюква с прошлого года осталась — вот Тоня и напарила ее. Иван даже пальцы облизал — до того вкусная получилась!

В середине мая, когда на прудах и озерах расплавились последние игольчатые льдинки, когда черемуха и тополь покрылись клейкими листочками, а на Сугомаке и Егозе зазеленели полянки, Ивана Серикова отпустили из больницы. Вышел он на улицу, вздохнул терпкий смолистый запах весны и будто опьянел. Ладно, рядом была Глаша, и он оперся на ее плечо, а то бы свалился от слабости и головокружения.

Первым навестил Серикова дедушка Микита. Иван грелся на завалинке в накинутой на плечи шинели. Щурился на солнце, слушал, как скворчата ворковали в скворечнике, прибитом на шесте над воротами. Бинты с головы пока не сняли. Юлиан Казимирович просил через недельку заглянуть к нему.

Дедушка Микита попытался было тоже уместиться на завалинке, но не удержался. Доска прибита покато, и дедушка сполз с нее. Глаша вынесла табуретку. Дед оседлал ее, как коня, и закрыл полами длинного облезлого полушубка. Узловатыми, морщинистыми пальцами закатал «козью ножку», набил из старого кисета самосадом-горлодером. Курил с малолетства, насквозь пропитался никотином, пальцы были коричневыми — закоптились.

— Балуешься или бросил?

— Давай за компанию.

— Деручий у меня, гляди, поосторожнее.

— А! — махнул рукой Иван. — Осторожничаю, осторожничаю, а получается все взад пятки.

— Чевой-то?

— Да как же! Всю жизнь не везет, прорва какая-то.

— Эх-хе-хе,— вздохнул Микита,— как еще с потрохами-то не съел тебя Лука-то. Услужлив ты, однако,— в

Катеринбург навострился. А вместо Катеринбурга чуть на тот свет не угодил.

— Разве знал? Он мне, Лука-то, денег да муки обещал. По сусекам-то у меня голодные мыши рыщут.

— Ну и что? У меня, думаешь, полны амбары? Да сдохну, а ни в жисть Луке на поклон не пойду.

— Легко говорить...

— Вань, да ты же против меня малец. Разделить мои годки, так таких, как ты, трое выйдет. Вон Мишка-то Мыларщиков живет, самостоятельный мужик.

— Ну, Михаил — иная статья.

— Пошто же? А Луку я бы давно к ногтю прижал. Ты вот всего не знаешь, на войне пропадал, а чо он тут вытворял! Две дюжины лошадей прикупил — шутка сказать? Батракам раздал —уголь, то да се вози. А барыш Лукашке. У Кольки Ускова, знавал ты его, по Уфалейской жил, мерина волки задрали. А мерин Лукашкин. Так ты чо думаешь? Обобрал Кольку до нитки, по миру пустил. А у того семеро по лавкам. Заколотил Колька избушку, детишков в охапку да подался куда глаза глядят. Лукашка-то содрал с Ускова на целых три коня. Небось, крест носит, а хуже всякого нехристя.

— Гляди, какой паук!

— Ну его к ляду, Лукашку твово, чести много о нем судачить. Слышь, у Мареева моста чебак ловится. Прямо голый крючок хватает, оголодал за зиму-то.

— Далеко, дедушка. Пока дойдешь, ноги до колен износишь.

— А на Сугомаке еще не клюет. Мой Петруха, бывалоча, говаривал: что помене — на пельмени, что поболе — на пирог.

— Слышно что-нибудь от него?

— А как же! Собирается наведать меня. Говорит, совсем не могу, а в гости нагряну. По Кыштыму шибко соскучился.

— Соскучишься. Я во сне видел. Закрою глаза — и

вот тебе Сугомак, вот тебе Гораниха, вот тебе тятин покос. Вечером косы отбивают, костерок потрескивает, Пеганка боталом шумит. От тоски сердце заходилось.

— От тоски не умирают. Слышь, намедни Тонька Мыларщикова чуть палкой не огрела Батыза-то. Назарка где-то кутенка подобрал, балуется с ним — дитячья забава. Такой проворный кутенок. Шел мимо Лукашка, а кутенок и принялся на него лаять. Глупая зверюга, а худого человека чует. Лукашка возьми да пни щенка-то. Тот заверещал на всю улицу. Назарка кинулся на Батыза с кулаками. Лукашка его за ухо. Своих-то никогда не бывало, детишков-то вот и не любит. Назарка в рев. Гляжу, Тоня из ворот с дрыном выбегает да на Батыза. А тот видит делать неча — давай бог ноги. Обиходила бы его Тонька, ей-богу, обиходила бы, она такая!

— Бойкая,— согласился Иван.

— И не говори! Тятенька как-то к ней наведался. Михайлы дома не было. Наверно, нарочно подкараулил, чтоб Мишка в бегах был. Леденцов внукам принес. Выгнала ведь.

— Отца-то?

— Его. Не хочу, кричит, твоих подачек, раз проклял — чтоб ноги твоей у нас не было! Как пес побитый, ушел Андрюшка-то Рожков от дочери родной. И поделом ему! Тонька сама себя понимает. А чо это Андрей поперек пошел? Славного себе мужика отхватила, радоваться бы, а ему, вишь, не по ндраву — бедный. Теперь вот бедные-то и прижали богатых, так им и надо! Огород-то нынче думаешь садить?

— А то как же!

— Подмогнуть?

— Сами управимся.

— А то подмогну. Не гляди на меня. Старый-то коняга борозды не испортит. А скворушки-то, гляди, как стараются. Жисть!

Еще долго грелись на солнышке больной Иван Сериков да старый дед Микита Глазков.

А вечером к Сериковым постучался Лука. Глаша не помнила, чтоб он приходил днем. Всегда выбирал темное время — не хотел похваляться дружбой с Сериковыми. Глаша не могла на него смотреть после той истории. Впустила, а сама закрылась в горнице, даже не ответила на приветствие. Иван и Лука остались на кухне. Иван тер подбородок. Лука ерзал на табуретке, не знал с чего начать. Мялись, боясь поглядеть друг на друга. «И чего принесло его? — терзался Сериков. — Должон же человек понимать?» Наконец Лука сказал:

— Я обещанное отдам, не сумлевайся, Иван Митрич, своему слову хозяин. Не твоя вина, с любым могло стрястись.

— Спасибо, но мне ничего не надо.

— Дурного про меня не думай, сегодня же принесу сеянку. А деньги вот,— вытащил из кармана деньги, завернутые в тряпицу, и протянул Ивану. Тот опустил голову на грудь, гонял на скулах желваки. Потом поднял тяжелый взгляд на соседа и сказал:

— Спросить хочу: ты пошто утаил, что в бауле было золото?

— Почему утаил? — задумался Батятин. — Тебя пожалел, не сойти мне с этого места. Лучше, чтобы не знал.

— Лучше? — усмехнулся Иван. — Боялся — украду? Али еще что? А чо ты вздумал меня жалеть-то?

— Эх, Иван Митрич, думаешь, мне не больно? Думаешь, у Луки вместо сердца вилок капусты? Вижу ведь, как живешь, помочь хотел. Давай-ка рассудим по-человечески: ну не все ли тебе едино, что было в бауле? Сказал бы я тебе, что золото, ты бы терзался всю дорогу, покой бы потерял.

— А может, с баулом-то сбежал?

— Не говори так, ради бога, Иван Митрич, и в мыслях такого не было. Кто же ведал, что стрясется такая

оказия. Все мы под господом богом ходим. Возьми деньги-то, пригодятся.

— Уходи-ка ты, Лука Самсоныч, подобру-поздорову, пока я хороший.

— Обида в деле не советчик, Иван Митрич. Сочувствую, казнюсь, но не держи на меня камня за пазухой. Дело соседское. Сегодня я тебе, завтра ты мне. Возьми Пеганку да вспаши огород.

— Не надо, Лука Самсоныч, не надо меня подмасливать. Я не злопамятный, но лучше нам с тобой дружбу не водить — волк козлу не товарищ.

После ухода Батятина Глаша прильнула к Ивану и заплакала, он молча гладил ее по голове и удивлялся самому себе, что не выгнал Батятина.

Меж двух огней

Седельников мечтал съездить в деревню. Один побаивался. Одиночек в окрестных селах встречали неприветливо, враждебно, часто обижали. Одного шуранского мужика избили до полусмерти в Метлино, а лошадь увели. Иван Иванович надеялся, что Совет нарядит еще один обоз, а может, уже снаряжает. Потому направился к Совету разведать обстановку. И наткнулся на Дуката. Какой у них там разговор состоялся, трудно судить. Но Дукат, как водится, моментально воспламенился и упрятал Седельникова в каталажку.

Борис Евгеньевич узнал об этом чуть ли не последним и то потому, что явилась Седельничиха в слезах. Она глотала вместе со слезами слова, и Швейкин не скоро разобрал, что она хочет от него. Когда же понял, то поначалу не поверил. Позвал Ульяну:

— Поищи, пожалуйста, Мыларщикова и Рожкова.

Седельничиху проводил до дверей, заверил, что это не-

доразумение и с Иваном Иванычем ничего не случится — сейчас же его выпустят. Швейкин хорошо помнил, как Рожков обещал раскатать дом Седельниковых по бревнышку, и потому погрешил на лихого командира красногвардейцев.

Первым появился Мыларщиков. Швейкин спросил:

— Арестован Седельников. Не слышал за что?

— Седельников? — удивился Михаил Иванович. — Понятия не имею.

Рожков влетел в кабинет на всех парах, опустился на табуретку и перевел дыхание. Мыларщиков поинтересовался:

— Медведь за тобой гнался, что ли?

— Коли медведь! Я б ему пулю в лоб и весь сказ. Баба!

— У тебя, вроде, смирная,— усмехнулся Михаил Иванович.

— Моя бы! А то оглашенного Петрована жена. Тут, Борис Евгеньевич, катавасия вышла. Не хотел тебе докучать да придется. На прошлой неделе стреляли мы на Амбаше, по мишеням. Кто из охотников, те тютелька в тютельку бьют. А другие охломоны поначалу зажмурятся, а потом уже давят на спусковой крючок. Того же Шимановскова возьми.

— И что? — спросил Швейкин.

— Ни в зуб ногой! Форсу на десятерых, а бестолковый. Ну, стреляли. Шимановсков в сороку пальнул. Да в нее-то не попал, зато оглашенному Петровану ногу подстрелил. И откуда он тут взялся, ума не приложу. Ясное дело, взвыл благим матом, я ему — рану-то перевязал — так, царапнуло. А вот старуха его теперь мне проходу не дает. Все норовит глаза выцарапать да за чуб потаскать.

— И правильно. Ты ж командир. Ты и в ответе.

— Иди, покомандуй моими охломонами. Кто в лес, кто по дрова. Я глотку надорвал — все порядок навожу.

— Ничего себе новость,— подытожил Швейкин. — А Седельников у тебя сидит?

— В кутузке. С Пановым за компанию.

— С каким еще Пановым?

— Хромоногим Пановым, рыбаком. На базаре пьяный почем зря советскую власть костерил. Вот Дукат его и зацепил.

— А Седельникова за что упрятал?

— Побойся бога, Борис Евгеньевич! Я что, басурман какой — ты и так мне выволочку дал тогда, на всю жизнь запомнил.

— Ладно. В отряде своем порядок наведи, спросим. Перед Петрованом извинись, доктора пошли. А то набедокурить набедокурили, а поправить дело боитесь. Седельникова и Панова выпусти сейчас же!

— А Дукат? Он же в драку полезет!

— Пошли ты его знаешь куда! — посоветовал Мыларщиков.

— Далеко-то не посылай,— улыбнулся Швейкин,— но ко мне пусть непременно зайдет.

Дукат появился вечером. Борис Евгеньевич спросил:

— Ты чем-то недоволен?

— До чего обожаем красивые слова! — покачал головой Дукат. — Распинаемся о революции, кричим о социализме и не видим грязи, которая нас постепенно засасывает.

Борис Евгеньевич отметил про себя, что Юлий Александрович за последнее время сильно похудел. Продолговатое лицо выглядело крайне усталым. Под глазами синева от недосыпания. Невольная жалость шевельнулась в груди у Бориса Евгеньевича. А что? Дукату ведь достается не меньше, а может, больше, чем другим. Должность у него беспокойная — контроль над заводами, контроль над деловым советом, над тем, как выполняются распоряжения Советской власти разными Пузановыми и ему подобными.

— Поясни,— попросил Швейкин.

— Зачем тебе пояснять? Ты же сам прекрасно видишь! Я понимаю, ты кыштымец, тебе тут все дорого, даже здешние мироеды — это частичка твоего прошлого. Ты еще огольцом бегал в лавку Пузанова покупать леденцы, и у тебя сохранилась к нему невольная оторопь. Потому ты боишься взять его за шиворот, забываешь — он классовый враг. Ты можешь поступить опрометчиво, как поступил сегодня, когда освободил этих контриков — Седельникова и Панова. Соседи, как ни говори, неудобно, что люди скажут. Но ты забываешь — они классовые враги. Революцию стеснительным делать нельзя. Надо железной рукой уничтожать нечисть — и тогда победа будет обеспечена. Слюнтяйством мы ее только погубим.

— Юлий Александрович, ты, конечно, понимаешь, что сказал сильные и несправедливые слова?

— Я за них отвечаю.

— Не сомневаюсь. Но обиды на тебя не держу, хотя повод ты мне дал основательный.

Дукат хотел возразить, но Швейкин остановил его:

— Погоди маленько. Прежде о классовых врагах. Вот Панова поставил рядом с Пузановым. Это все равно что уравнять воробья со стервятником. У Панова ни кола, ни двора. Ни у Пузанова, ни у Лабутина в лакеях не состоит. Костерил советскую власть? Он всегда был невыдержан на язык, ему не раз от бывших хозяев плетка за это доставалась. У Панова что на уме, то и на языке, его воспитывать, а не сажать надо. Кыштымский обыватель в принципе-то молчалив. Он будет на тебя коситься, между собой косточки тебе промывать, а прямо не выскажется. Так вот Панов и высказал обывательские мыслишки. Вслух. Не надо нам с тобой оглядываться на обывателей, но выводы мы делать обязаны. Значит, заволновался обыватель.

— Поприжать — и подожмут хвосты.

— Давай будем прижимать. Хватать всех недовольных и в кутузку их! А если мы завтра с тобой не обеспечим Кыштым хлебом, керосином, солью, так завтра и рабочие заволнуются. Их что, тоже туда же? Это тебе не игрушки, товарищ Дукат! Мы будем делать революцию кропотливо, трудно, непримиримо. Это потруднее, чем махать револьвером. Кстати, ты и Седельникова упек, догадываюсь, за слова — он при тебе пожалел, что дали под зад англичанам. Так? Молчишь, значит, так. А насчет леденцов ты прав — бегал я за ними в пузановскую лавочку, хорошие были леденцы-монпасье. И не оторопь у меня к Пузанову. У нас с ним любовь взаимная — он трясется при упоминании моего имени, а я — при упоминании его. Но только почему я должен сейчас упрятывать его в кутузку?

— Они же сговариваются, как ты не поймешь! А завтра глотки нам перегрызут. Так уж лучше упредить!

— Прав Тимонин — не сам по себе страшен Пузанов, а тогда, когда его поддержат обыватели, когда вокруг него сколотится шайка. Но мы не должны этого допустить. Мы не имеем права таких мужиков, как Седельников, толкать в объятия к Пузанову.

— Выходит, я толкаю? Выходит, я создаю объективные условия, при которых Пузанову легче сколотить шайку? Это же демагогия!

— Но я сказал по-другому — не надо толкать! А к оружию прибегать в последнем, крайнем случае.

— Тебе трудно возражать, аргументы у тебя веские. Так пусть нас рассудит жизнь!

— Но сегодня жизнь делаем мы!

— И тем не менее смущает меня одно — вы будто глухари, токуете и не слышите, как подбирается охотник. Грянет выстрел и будет поздно!

— Я, например, мало полагаюсь, на интуицию,— сердито возразил Швейкин. — Но я знаю истинное положение дел на заводах: трудная продовольственная обста-

новка, всякие нелепые слухи на этой почве и законное недовольство. На заводах нет работы, потому что затруднен сбыт продукции. Кое-кто пользуется этим. В окрестных селах не унимаются кулаки. В целом по России обстановка тревожная, тяжелейшая. Вот мои отправные данные. Согласись, трудно назвать нас увлекшимися своей песней глухарями. Если же начать повальные аресты, о которых ты что-то уж часто и много говоришь, то мы, во-первых, ни одну из проблем не решим, а только усугубим, а во-вторых, восстановим против себя народ. А что мы с тобой без народа? Нули!

Нет, не просто убедить упрямого Дуката. Швейкин и не рассчитывал на это. Но вот поколебать его, кажется, удалось. Ушел Дукат задумавшимся.

У Бориса Евгеньевича что-то разболелась голова, и он попросил Ульяну, чтобы она никого к нему не пускала.

...Никогда Борису Евгеньевичу не приходилось так много заседать, как в эти зимние и весенние месяцы восемнадцатого года. Повестка дня порой включала в себя до двадцати и больше пунктов. Такое пустяковое дело, как выделение деловому совету самых обыкновенных мешков, было предметом горячих споров. Рядились за каждый мешок, чтобы не отдать лишнего, и получалось это с чисто кыштымской прижимистостью. Ну, спрашивается, какая разница выдать десять или двенадцать мешков, если на складе их больше сотни и лежат они там чуть ли не со времен Ордынского? Так нет — спорили и всерьез надеялись, что не завтра, так послезавтра мешки пригодятся и будут еще цениться на вес золота. Накрепко верили — придет такое время и оно не за горами. Потому что Дмитрий Тимонин и его помощники все-таки сумели сдвинуть дело с мертвой точки. Из Екатеринбурга привезли вагон всяких хозяйственных мелочей — керосина, соли, гвоздей и еще зачем-то висячих замков. Не иначе остались с прошлого столетия, вот и сунули их кыштымцам в нагрузку.

После очередного заседательского бденья Борис Евгеньевич распахнул окно, и свежий воздух ринулся в душную комнату. Никак уже утро? Швейкин накинул на плечи тужурку и вышел на крыльцо. Свежо, но какой воздух! Дыши — не надышишься! Борис Евгеньевич присел на ступеньку. Ночи еще прохладные, но скоро потеплеют — июнь уже на носу. Кто-то опустился рядом. Да это же Ульяна! В пальто, тоже накинутом на плечи, без платка. А он, занятый своими делами, позабыл о девушке.

— Почему не дома? — спросил он ее.

— Да так,— повела она плечами. — Припозднилась вот...

На станции гукнул паровоз. В кустах спросонья пикнула пичужка. Над соседней крышей мигает яркая звезда.

— Как эта звезда называется, знаешь? — спросил Швейкин.

— Какая? — встрепенулась Ульяна.

Борис Евгеньевич вытянул руку, и Ульяна нашла звезду:

— Ой, какая красивая!

— Аврора — утренняя звезда.

— Сроду не слыхивала.

— А рассвет на озере когда-нибудь видела?

— Не-ет.

— Тоже — кыштымка!

— Так никто же меня не брал! Тятя рыбаком не был, ну а с мальчишками я не водилась.

— Я бывал на плесе, до ссылки. С Осипом Наговицыным. Как-то с вечера уплыли на плесо, а там камышей — заблудиться можно. Заводи есть — вода светлая, все водоросли видать, даже камушки на дне, хотя и глубоко. Приплыли затемно, прятались в камышах, прямо в лодке и подремали. Тут и рассвет начался. По воде парок стелется. В камышах утки крякают. Поплавки на воде замерли. Потом — рраз! Клюнуло и повело. Леска вот-

вот лопнет. А в это время над Кыштымом краешек солнца высунулся — все заискрилось, ожило. Описать трудно! Видеть надо. Так что считай, Уля, поездку на плесо за мной. Потеплеет и уплывем, в камышах будем ловить здоровенных окуней. Или ты не согласна?

— Пошто? Очень даже согласна. Можно спросить?

— Если охота.

— О новой жизни вы все говорите. А какая она будет?

— Хорошая, разумеется, а иначе зачем было революцию делать.

— А все-таки?

— Ну как тебе сказать? Прежде всего, без бедных и богатых, все будут равны. Всех заставим работать. Пузанова тоже. Что заработал, то и получи. А то ведь одни в сыре-масле и ничего не делают, а другие с голода пухнут и спины на работе не разгибают. Малого и старого за парту посадим.

— Всех? — удивилась Ульяна.

— Всех. У тебя какая мечта?

— Тятя говорил — вот бы Ульку учителькой сделать. И я хотела!

— Значит, будешь учительницей. Еще не поздно.

— Да ну, куда уж мне...

— Немножко с хозяйством поправимся, контриков прижмем и будем учиться. Даже Савельича заставим. Ни одного дитенка без школы не оставим, университетов побольше заведем. А то у нас в Кыштыме в высшем заведении учился один Ерошкин, у его отца тугая мошна была. Остальные грамотные все приезжие. А кто из рабочих выучился?

— Учиться зачнем, а кто робить будет?

— Работать будем и учиться.

— Да на какие же капиталы?

— Бесплатно. А кое-кому жалованье будем платить за учебу-то, тебе вот, например.

— Да ну вас! Сказки какие-то!

— Сказки! Не-ет! За эти сказки вон сколько народу погибло — в тюрьмах, в ссылках, на баррикадах. Сказка, Уля, тогда, когда несбыточно. А мы реалисты, мы хотим, чтобы так в жизни было.

— Вы тоже пойдете учиться?

— Самый первый!

— А я думала вы все знаете.

— Что ты! — воскликнул Борис Евгеньевич. — В гимназии учился недолго, больше самоуком — то в тюрьме, то в Сибири. Я бы инженером стал, а то и врачом.

— Чудно,— сказала Ульяна задумчиво. — Жили, жили, взрослыми заделались — и за парты! Даже дядя Алеша!

— Время такое наступает — без грамоты ни шагу!

— Хорошо, грамотеями заделаемся, а любовь не отменят?

— Как же ее можно отменить? Любовь станет чище, Уля, возвышенней. Потому что жизнь будет прекрасной.

— Вы кого-нибудь любили?

— Было, но очень давно. Понравилась одна девушка, а я все времени не мог найти, чтоб поухаживать. Решился однажды проводить ее, а егозинские парни поколотили меня. Правда, правда, не смейся.

— Больше ни за кем не ухаживали?

— Нет, Уля, не ухаживал. Да когда же?

— Оно так,— грустно согласилась Ульяна. — Вокруг себя ничего не замечаете. Только и знаете заседать с утра до вечера да на митингах говорить. И спите-то не всегда. Так ведь всю жизнь проморгать можно.

— Ну не всю, преувеличиваешь. Но кому-то и заседать надо, и на митингах выступать. А как же? А вот насчет замечаю я или не замечаю, тут уж позволь тоже не согласиться. Я даже знаю, почему ты не ушла домой.

— Осуждаете, да?

— Что ты?! Стараюсь разобраться в самом себе...

— Чего разбираться-то, Борис Евгеньевич? Я бы вам мешать не стала, тенью бы заделалась, лишь бы всегда рядом. Куда угодно за вами пойду.

— Может, об этом потом?

— Да когда же потом-то? Вы же видите, как я маюсь?

— Эх, Уля, Уля! Ты думаешь, мне любить не хочется?

— Так любите же.

Он промолчал. Ульяна погрустнела.

— Не печалься,— улыбнулся Борис Евгеньевич. — Все образуется. У нас еще много впереди хорошего. И любить мы с тобой будем.

Борис Евгеньевич обнял Ульяну, легонько притянул к себе:

— Поплывешь со мной на плесо?

— Поплыву!

— Вот уж там мы с тобой и наговоримся, а?

Швейкин целый день находился под впечатлением разговора с Ульяной. Что-то в нем окончательно проснулось, давно забытое. И мать ему все докучает: «Когда же ты семью будешь заводить? Неужели так и будешь холостяком? А мне так хотелось внуков от тебя понянчить!»

Перед грозой

Ничего не прояснил разговор Мыларщикова с Сериковым. Пришлось официально приглашать Батятина в свою боковушку. Лука Самсоныч прибыл как на праздник, вроде в церковь по случаю пасхи. Волосы на прямой пробор и смазаны маслом. Борода ухожена. Рубашка — черная косоворотка, а пуговицы белые. Пиджак расстегнут, а под ним жилет. Шаровары заправлены в хромовые сапоги с длинными голенищами, у коленей козырек. Ну и

сапоги у Луки! Михаилу Ивановичу и во сне такие не снились. Это ради чего же он вырядился? Пыль в глаза пустить? Мол, во какой я — не посмеешь тронуть!

— Садитесь, гражданин Батятин.

— Благодарствую,— смиренно ответил Лука, усаживаясь.

Михаил Иванович поймал в его глазах настороженность. Батятин вздохнул — гражданином назвал его Мишка. Мальцом еще его помнил, а тут гражданин Батятин! Вроде и не сосед.

— Кудай-то вы это нарядились, Лука Самсоныч? Гадаю и понять не могу — вроде пасха прошла, а других праздников не предвидится.

— А у меня, дорогой соседушка, на душе благовест. Ничего, ежели я по-соседски?

— Валяйте!

— Смутная ноне зима-то была. Снег, почитай, выпал в октябре. Кажись, в октябре?

— В октябре,— подтвердил Мыларщиков.

— Стужи да бураны и весна опять же припозднилась. И по-соседски — основы государства расейского потрясены. А новые еще поставить не успели. Боязно жить стало.

— Чего это вы испугались?

— Тебе вот не боязно — ты власть. У кого власти нет — тем боязно. Жизнь покатилась ни шатко ни валко. Да вот, слава богу, тепло наступило. Сердце радуется. Природа просыпается. Скворушки поют, воробьи чирикают. Теперь всякой малой радостью приходится пользоваться, потому как завтрашний день темен, аки ночь.

— Да полноте, Лука Самсоныч, это у вас-то ночь?

— Так не даете спокойно-то жить. Хотя бы взять тебя. Взял и пришел бы ко мне, самоварчик бы сгоношили, чайком побаловались, покалякали по-соседски. Милое дело! А то зовешь сюда, гражданином величаешь, а я привык на Луку отзываться.

— Да к вам как придешь-то, Лука Самсоныч? — улыбнулся Мыларщиков.— У вас во дворе не собака, а прямо медведь!

— На своих-то он смирный.

— Знаю я, какой смирный. Приходил к вам родич из Заречья, так я, грешным делом, поопасался за него — думал в клочья разорвет!

— Все видишь, на ус мотаешь. Жизнь-то пошла! Брат на брата, сосед на соседа. Мне еще бабушка покойница говаривала: «Запомни, Лука, сатанинские времена грядут, и поднимется сын на отца, жена на мужа, и наступит великий глад». Как в воду глядела, бабушка-то моя.

— А конец света она не обещала?

— Придет и конец света, не смеись. Все полетит в тартарары!

— Не поэтому ли так вырядились?

— Все равно пропадет, хоть поносить перед концом-то.

— Ну ладно, Лука Самсоныч, пошутковали и хватит. Тут еще сказочки про ад и чертей зачнете сказывать, совсем на меня страху нагоните и про дело могу забыть. А дело у меня пустяшное — кому это вы, Лука Самсоныч, с Ваньшей Сериковым золото отправили?

Батятин обиженно заморгал глазами:

— Господь с тобой, Михаил Иваныч? Какое такое золото?

— И слыхом не слыхивал?

— Не сойти мне с этого места! Вот те крест! — Батятин крупно перекрестился.

— Я так понимаю — Сериков сам поехал в Катеринбург.

— Пошто сам? Я этого не говорил. По моей просьбе поехал.

— Что же это за просьба такая?

— Как бы тебе запросто обсказать? Есть в Катеринбурге знакомый точильщик, навроде нашего Ахметки:

«Кому ножи-ножницы точить, кому ножи-ножницы точить!» Знаешь, поди? Ездил я на рождество в Катеринбург. Точильщик-то плакался: мол, нету точильных кругов, беда прямо. Ну я и обещал ему.

— А потом?

— Оказии не было. А тут Ванюшка Сериков возвернулся, не подфартило мужику в жизни. На войне израненый весь, дочурка умерла, дома полный разор. Дружбу-то с ним по-прежнему водишь?

— Вожу.

— Это я к слову. Ванюшка мне сосед. Болит сердце за него. Сенца подкинул малость, лошадку одалживал. А что это? Пустяк. Думаю, дай-ка я Ванюшке с Гланькой подмогну. Просто так дать — не возьмет, гордый шибко. А я решил ему дело придумать, да по-царски заплатить. И обиды никакой. Вспомнил про знакомого точильщика, у Рожкова, тестя твоего, точильные круги прикупил, в Катеринбург-то и отправил. Кабы знал, что такая беда выйдет! Рази я Ванюшке враг? Лучше бы уж самому ехать, пусть бы меня потрясли. А то ведь Ванюшку-то на войне покалечили, да еще тут голову проломили. О господи, прости грехи наши!

— Складно, однако, получается,— качнул головой Михаил Иванович.

— Пошто складно? Скорбно, а не складно. Выходит, Ванюшка-то от моей доброты пострадал. Хочешь добро сотворить, а оно во зло оборачивается.

— Значит, не золото, а точильные круги?

— Как на духу.

— А у Евграфа на сборище были?

— Побойся бога, Михаил Иванович! На каком таком сборище? Ты же видишь — денно и нощно дома сижу. На заимку и ту боюсь выехать, а надо ехать — земелька просохла, заждалась хозяина. Сериков обещал подмогнуть, да какая сейчас от него подмога. Вроде полегчало ему?

— Полегчало, Лука Самсоныч. Только зря не хотите говорить правду. Дознаюсь — хуже будет!

— Попу бы не все сказал, а тебе как сыну родному.

— Грешно душой-то кривить, насчет сына-то.

— И до чего же ты неуважительный, соседушка!

— Неуважительный? — вдруг вышел из себя Михаил Иванович и позабыл, что за все время разговора называл Луку на «вы», это ему как-то Борис Евгеньевич замечание сделал, что он всем «тыкает», а ведь при должности состоит.— А пошто я должен быть уважительным? Ты мне тут всякие сказочки сочиняешь, благодетеля из себя корчишь, а правды сказать не желаешь. Я ведь знаю — золото отправил ты с Иваном, и в Катеринбурге адрес знаешь, и здесь золото втихомолку собирали, сам, небось, пай вложил. За дурачка меня считаешь? Шалишь, Лука Самсоныч, шалишь! Ладно, плети свои сказочки, но потом на себя пеняй. Я тебе наш разговор как-нибудь припомню!

— Господь с тобой, Михаил Иваныч. Нету у меня ничего за душой. Отпусти ты меня, на заимку со старухой собрался, гляди, какая погода славная на дворе.

— А, шагай куда хочешь!

К Швейкину Мыларщиков пришел злой, решительный. Борис Евгеньевич что-то торопливо дописывал. На Михаила Ивановича и не взглянул, пока не кончил. Потом поднял голову:

— Чего у тебя?

— Я бы Ерошкина, Батятина и Евграфа Трифонова на всякий пожарный припрятал в каталажку.

— Да вы что, братцы? — воскликнул Борис Евгеньевич.— Ну прямо помешались на арестах! Сначала Дукат, теперь вот ты. Хорошо. Ты можешь предъявить обвинения?

— Предъявлю.

— Какие? Кого-нибудь за руку поймал?

— Поймаю.

— Вот когда поймаешь, тогда и сади. Я первый об этом скажу.

— С Батятиным только что калякал. Какой он мне только чепухи не наплел. Сказочки рассказывал, издевался гад.

— Слушай, у тебя, говорят, есть верховые лошади?

— Заводские, а что?

— Съездим к Марееву мосту.

— А верхом-то можешь?

— За кого же ты меня принимаешь? Зря я, что ли, в Сибири восемь лет скитался? Да я теперь не то что верхом ездить могу, я блоху подковать сумею!

— Гляди-ко! Новое что-то, раньше не слышал. Хвастаешь, наверно?

— Проверь,— улыбнулся Борис Евгеньевич.

— Дай срок! А почему к Марееву мосту?

— Приятное с полезным совместить. Вчера нижнезаводские приходили, просили там городьбу сделать. Посмотреть бы что там к чему. И ни разу я еще там не был.

— Не возражаю. Чебачишка сейчас там хватает, душеньку рыбалкой потешим. Хотя уха из них не ахти какая, но зато на воздухе!

Уговорились выехать пораньше. Мыларщиков появился у дома Швейкиных верхом на коне, а другого, для Бориса Евгеньевича, вел на поводу. Черенком плетки постучал в ставень. Екатерина Кузьмовна, распахнув створку окна, высунула голову, повязанную ситцевым платком.

— А, Миша! Гляди — казак и казак! Зайди на чашку чая.

— Спасибо. Антонина блинами накормила.

— Заботливая, видать.

— Есть маленько,— улыбнулся Михаил Иванович. Уж что верно, то верно — Тоня у него на особинку.

Швейкин появился улыбающийся, во френче горохового цвета, карманы на груди и по бокам накладные.

Взял повод, потянул на себя. Конь игреневой масти, белая полоска на лбу, веселый такой. Вскинул голову, повод норовит вырвать. Но почуял твердую, опытную руку и перестал брыкаться. Борис Евгеньевич вставил носок сапога в стремя и плавно опустился в седло. Екатерина Кузьмовна подивилась — ловко у него получилось.

С вечера погода хмурилась. Ночью прошелестел спорый дождь. А утром выкатилось умытое солнышко. Заискрилась-засверкала дождевая роса на листьях, крышах домов, на придорожной траве. Небо голубело без единого облачка. До Мареева моста решили добираться не через Нижний, а напрямую. Возле гимназии по деревянному настилу копыта отбили лихую дробь — пересекли Кыштымку. Миновали Заречье и, перемахнув через железнодорожное полотно, очутились на Коноплянке. Оттуда до моста недалеко.

У Мареева моста места красивые. Речку Кыштымку запрудила мельничная плотина. Мельница не работала, но сохранилась — со временем ее легко будет восстановить.

Всадники расседлали лошадей, стреножили и пустили пастись. Борис Евгеньевич, расстелив попону, лег на спину и затих. Мыларщиков вырубил длинное сосновое удилище и соорудил удочку. Леска была в три волоска, самая подходящая для ловли чебаков.

— Хочешь и тебе сделаю?

— Охоты нет,— отказался Борис Евгеньевич.— Лови, а я понаблюдаю.

Мыларщиков ловил чебаков, а Швейкин отдыхал. Лежал на спине и вглядывался в немыслимую голубую глубину. Небо! Оно, вроде бы, всюду одинаковое. И в Сибири такое же. Да только не совсем. Кыштымское небо — это небо вместе с Сугомаком и Егозой, вместе вот с этим неповторимым лесом, с речушкой Кыштымкой и многочисленными озерами. Высятся возле завода две горы — Сугомак и Егоза. Торопятся из тайги к нему три мелко-

водные речушки: Кыштымка, Сугомак и Егоза. Текли они сами по себе. Но пришел человек, поставил плотины и обнялись речушки, как родные сестры, наполнили водой пруды и стали проситься на волю. Человек смилостивился, открыл на Верхнем заводе плотину, и заторопилась на северо-восток по заводскому поселку уже только одна речка — Кыштымка. Однако человек решил, что и она не должна течь праздно. И воздвиг плотину на Нижнем заводе, а потом и у Мареева моста. Хотя здесь лишь мельница, но тоже служба, тоже работа. Много рек на белом свете — больших и малых и совсем малюсеньких. Бурливых и спокойных, равнинных и горных. Но мало найдется таких работящих, как родная Кыштымка. Невелика, а работяща. И никогда не капризничает, даже во времена таянья снегов. Работящая судьба выпала и на долю самого Кыштыма. Плавил чугун, медь, делал железо высшего качества со знаменитой меткой «Два соболя», добывал золото, воевал с заводчиками и нуждой, выкорчевывал тайгу, чтобы иметь клочок земли под посевы. Он умел все: и работать, и терпеть, и бороться, и гневаться, и веселиться. Теперь вот учится строить новую жизнь. Трудненько, а надо!

Борис Евгеньевич подошел к Мыларщикову. Чебачки клевали бойко. Только Михаил Иванович закидывал удочку, как поплавок, выточенный из сосновой коры, начинал нетерпеливо приплясывать, отгоняя от себя водяные круги.

— Тяни, чего дремлешь! — упрекнул Швейкин.

— Рано,— возразил Мыларщиков.— Это чебак, он навроде лесного зайчишки — сперва потешится, а потом уж насмелится.

Мыларщиков дернул удочку с подсеком и воскликнул:

— Вот он!

И верно, на крючке болтался серебристый чебак. Извивался, вырваться хотел. Но от Мыларщикова не убе-

жишь — ловок! Чебачишка полетел в котелок, где плескалось уже более двух десятков серебристых ротозеев. Рыбак поправил червяка и снова закинул в запруду.

— Я все хочу спросить,— повернулся Мыларщиков к Швейкину, в то же время не спуская взгляда с поплавка.— У тебя там была женщина?

— А что? — насторожился Швейкин.

— Просто спрашиваю. Не женился ты там?

— И не подвернулась и не думал как-то.— Борис Евгеньевич бросил в воду камешек.

— Пошто же?

— Как тебе сказать? Я ведь все же ссыльным был, без прав и положения, как бездомная собака. До женитьбы ли было! За кусок хлеба гнул спину день и ночь. И кузнецом был, и печником, и маляром, и кем угодно. Нашим братом помыкали, эксплуатировали на всю катушку, а платили сущие пустяки. Охотой занимался. А потом уже, когда выдали мне паспорт и стал я крестьянином Кежемской волости, то получил возможность ездить всюду, кроме европейской России. Подался на золотые прииски, в Бодайбо. Электриком заделался, фотографировать научился, штейгером служил. Ты, собственно, чего о женитьбе заговорил?

— Вот он! — опять воскликнул Мыларщиков, вытаскивая очередного чебачка.— Улька-то в тебя по уши втюрилась.

Швейкин набрал горсть камешков и бросил их в воду. Рыбак поморщился:

— Чо рыбу-то пугаешь? А Улька — видная девка. Не будь у меня Тони, женился бы на ней, ей-богу! Ты когда заболел, Улька на меня волком глядела. Глазищи-то у нее вон какие. Сердилась, думала, что я тебя умучил, когда в Катеринбург-то ездили. Шимановскова обхаживала, чтоб Юлиана Казимировича к тебе сводил.

Швейкин молчал. Он вспомнил тот разговор с девушкой ранним утром, и заекало сердце.

— Чо молчишь-то! Не нравится?

— Ульяна? Нет, почему же? Хорошая она, что и говорить. Отменной женой будет. Только боюсь я.

— Чего?

— Отпущу тормоза и сразу влюблюсь. А мне нельзя, понимаешь.

— Погоди, чо ты чепуху-то городишь? — удивился Мыларщиков.— Как это нельзя? Ты не мужчина, что ли?

— Ну, ты это брось! Посуди сам. У меня возраст Иисуса Христа. Ульяне всего двадцать. Разница? Разница. Я больной и отдаю себе отчет, что это за болезнь, может, ты не представляешь, а я хорошо понимаю свой завтрашний день. Это два. Да и не хватает у меня времени на вздохи, ты же видишь, как мы крутимся. Спать иногда не удается, когда же тут на луну вздыхать.

— Но Улька-то рядом с тобой!

— Ладно, давай не будем!

— Несерьезно все это, Борис, ей-богу, несерьезно. Зачем себя обкрадывать, не понимаю. Ну был в ссылке, там понятно, там не до жиру, быть бы живу. А сейчас? В старики уже записался, чудак, ей-богу!

— А вообще-то ты во всем виноват!

— Еще одна новость! — удивился Мыларщиков.— С больной головы да на здоровую. Ты, Борис, сегодня, как заяц петляешь. Прямо не угадаешь, куда сейчас прыгнешь.

— Никуда я прыгать не собираюсь. Но подумай, кто же у меня тогда, в молодости, девушку отбил? Кто меня за Тоню-егозинку наколошматил? Может, не ты?

— Вот, оказывается, куда ты прыгнул!

— А что? Не поколотил бы — я бы, может, еще тогда женился, а женился — наверняка не было бы у нас сегодня такого разговора...

— Силен! — восхищенно покрутил головой Мыларщиков.— Как уж вывернулся. А ты, однако, злопамятный. Давай лучше уху варить, а то в кишках урчит.

...На заседании Совета обсуждалось несколько вопросов, главный из них — образование районного Совета рабочих депутатов. Поспорили, не без этого. Не могли сразу договориться, куда отнести Нязепетровский завод. Представитель завода просил присоединить к Уфалейскому Совету. Мотив житейский — ездить ближе. В Кыштымском Совете тоже нашлись приверженцы этой идеи. Однако Нязепетровский завод был испокон веков связан с Кыштымом, входил в один горный округ и подчинялся Центральному деловому совету. Таким образом, экономически тяготел к Кыштымским заводам. Надо ли было рвать эти прочные связи? Решили не рвать. Нязепетровцам было послано приглашение на учредительный съезд, который наметили провести в июне.

Было принято еще такое решение: «Возле Мареева моста... сделать городьбу и ворота, содержать сторожа владельцам пашен за свой счет, причем земельно-лесной отдел должен отпустить дерева на это бесплатно».

Расходились по домам поздно, и никто не предполагал, что завтра вся жизнь круто изменится — в Челябинске и по всей транссибирской магистрали начался мятеж чехословаков, которым Советское правительство разрешило выехать на родину через Владивосток. Мятеж подготовила и активно поддержала Антанта и внутренняя контрреволюция.

Это было началом гражданской войны в России.

На тихой улочке...

Иван выздоравливал медленно. Глаша ухаживала за ним, как за маленьким. Ему это нравилось и в то же время оставляло в душе чувство вины перед женой. Както она, внимательно осмотрев его волосы, удивилась:

— Вань, а седых-то сколько-о-о!

Он взял с комода зеркальце, долго всматривался в свое скуластое похудевшее лицо и усталые глаза, поерошил щетину начинающих отрастать волос, потер пальцем подглазницы, обведенные светло-фиолетовыми синяками. Да, состарила его эта история на добрый десяток лет. Знай Иван, что в баульчике, ни за какие бы капиталы не поехал в Екатеринбург.

У дедушки Микиты давным-давно были заготовлены доски впрок. Сложил их штабелем возле двора, а чтобы не растащили, опоясал штабель железными полосками и приколотил к доскам гвоздями. Думал бобыль, дождется Петруху и пустит эти доски в дело — избенка-то обветшала. Но не ехал домой Петруха. Вот к этим доскам и пригляделся Иван Сериков. Хотя они прополосканы дождями, испытаны стужей и ошершавлены ветром, но сгодились бы еще. Ворота ими можно обновить, крышу подлатать, кое-что по мелочи сделать. Когда Иван завел речь о досках, дед Микита потеребил седую клочковатую бороду, и в подслеповатых глазах уловил Иван тоску. Не едет домой Петруха, а самому затевать перетряску невмоготу да и не к чему. Сколько осталось еще жить?

Иван перетаскал доски в свой двор, и заходила ходуном изба от дробного стукотка. На крышу пошли свежие тесины, а гнилье, поросшее зеленым мохом, выбросил на свалку. Жадно, в охотку махал топором. Насвистывал себе под нос. А вот истинного покоя не было. Хотя никуда не ходил, но чувствовал — жизнь вокруг будто взбесилась и понеслась вскачь, того и гляди вытряхнет из телеги. А Иван все еще лелеял наивную мечту, что все эти людские страсти минуют его тихую улочку, что не докатится до нее гром орудий и пулеметная трескотня. Он не хотел знать, что под Аргаяшом вот-вот закипят смертные бои, что в Челябинске уже хозяйничают белочехи и казаки, что они жестоко расправились с руководителями советской власти.

Глаша как-то, вернувшись с базара, сказала:

— Чо деется-то, Вань, на станции и в заводе, чо деется-то!

В Кыштым прибывали эшелоны из Екатеринбурга с войсками. По Большой улице то и дело скакали верховые — от станции к Совету и обратно. На станции в вагонах разместился полевой штаб Красной Армии. На заводах кипели митинги, рабочие вооружались кто чем, готовились к боям. Они разбили лагерь на Татыше и на скорую руку учились воевать. Совет преобразовали в Военно-революционный комитет. Ему подчинялся не только Кыштымский горный округ, но и Уфалей, а также территория от Караболки до села Рождественского, от Селезней до Верхнего Уфалея. Положение было серьзным.

А Иван Сериков упрямо рассчитывал отсидеться на своей тихой улочке. Мыларщиков звал его к себе, но тот не шел.

Глаша нежно гладила седеющую Иванову голову, ластилась, зазывно заглядывала в глаза. Она уже носила под сердцем новую жизнь и была счастлива. Счастлива от того, что Иван выжил и теперь домовито наводил порядок в их гнезде, что у них скоро будет новая Дарьюшка, что буйно зеленел май, кучно поднялись всходы картошки, обещая хороший урожай.

Иван вырезал нового петушка — залюбуешься. Выскоблил его острыми гранями осколка стекла, покрасил в голубой цвет и приколотил на конек крыши. Приладил на шарнирах так, что петушок мог поворачиваться по ветру. И такой задорный получился, что, казалось Ивану, будто вот-вот захлопает крыльями и заорет на всю улицу кукареку. Голубой краски Глаша одолжила у Тони Мыларщиковой. Иван подправил у окон наличники и стал красить их, чтоб было, как до войны.

Уже кончался май, и с Сугомака потянуло летним ароматом поспевающей земляники, духмяно-горьковатым запахом берез, голубой свежестью воды. Красил Иван не спеша. Помахает кистью, отступит на шаг, полюбует-

ся. И снова, посвистывая, водит кистью. Радуется — избенка опять приобретает горделивый вид. Голова болит меньше и меньше, а иногда и совсем не болит. Если постоит еще такая же погода, то через недельку можно сходить на Сугомак-озеро с удочкой. Увлекся и не заметил, как к нему подошли трое — двое с винтовками, а третий с револьвером на боку. Этот третий во френче и фуражке, молодой и сердитый, видимо, был у них командиром. Один красноармеец совсем безусый, в пиджаке и в сапогах, видать, из рабочих парней. А второй с пшеничными усиками, в солдатском, в ботинках с обмотками — свой брат, фронтовик.

— Хозяин,— сказал фронтовик, окая,— где Ботятин живет?

— А вот,— показал кистью Иван на батятинскую крепость.

Все трое направились к дому Батятина.

Молодой во френче погремел щеколдой, подождал малость, а уж потом подолбил пальцем по оконному стеклу. Волкодав бесновался вовсю. Чуточку приоткрылась створка окна, Батятиха недовольно проскрипела:

— Чо долбите, нехристи?

— Открой, бабка, да живо! — приказал командир.

— А ты кто мне?

— Бог Саваоф! Открывай, раз говорят!

Иван насторожился. Ого! Это тебе гости! Водил машинально кистью и все поглядывал на красноармейцев.

Батятиха открыла калитку, не привязав волкодава. Пес словно того и ждал. К воротам ближе других стоял командир. Волкодав прянул ему на грудь и сбил с ног. Падая, командир заслонил лицо локтем, и клыки, смоченные злой слюной, впились в руку. Командир закричал от боли. В следующую секунду безусый ударил собаку прикладом. Пес, взвыв от ярости, ринулся на паренька. Тогда фронтовик вскинул винтовку и всадил волкодаву пулю

под лопатку. Тот подпрыгнул и шмякнулся на землю, судорожно подергивая ногами. Красноармеец перезарядил затвор и всадил еще одну пулю для верности. Волкодав дернулся еще раз и затих. Из его пасти потекла черная кровь.

Сериков остолбенел. Выскочила Глаша. Батятиху будто ветром сдуло, зато Лука, услышав выстрелы, выскочил из баньки, где прятался, едва не высадив плечом калитку, ведущую из огорода во двор. Командир поднялся, стряхнул здоровой рукой пыль с галифе, держа укушенную руку на отлете, морщился от боли. Рукав взмок от крови. Глаша, увидев кровь, стремглав кинулась в избу и появилась с кринкой теплой воды, чистой тряпицей, ножницами и пузырьком йода, который дал Ивану Юлиан Казимирович. «Ну и прытка»,— подивился Иван. Глаша усадила командира на лавку возле батятинских ворот, разрезала рукав френча и нательной рубахи. Промыла ранки от клыков волкодава, залила их йодом и обмотала тряпкой. На лбу командира выступили бисеринки пота.

А Лука причитал над псом:

— Чо же вы такого пса-то загубили? Вам бы только крушить, только бы убивать...

Фронтовик поглядел на Луку и упрекнул:

— Не собака, целый телок... Такого на двух цепях надо держать!

А безусый спросил:

— А ты, дядя, часом, не нарошно науськал его?

Лука испугался — возьмут и скажут, что нарошно. А за искусанного командира отвечать придется. И пулю немудрено заработать.

— Меня и во дворе-то не было. А баба што? Волос длинный, а ум короткий. Да рази я бы допустил? Да вот хотя бы соседа спроси,— кивнул он на Серикова, стоявшего неподалеку с кистью в руке.

— Спасибо,— сказал командир Глаше, когда она за-

кончила перевязку.— Айда, красавица, к нам в отряд сестрой милосердия!

— Ишь какой прыткий! — улыбнулась Глаша.— У меня вон свой солдат есть.

Командир подошел к Батятину, зло пнув мертвого волкодава, спросил:

— Гражданин Батятин?

— Как есть,— охотно отозвался Лука.

— По приказу ревкома предписано конфисковать у вас коня.

Лука перевел недоуменный взгляд с командира на фронтовика, потом на Глашу и Ивана, вроде бы ища у них разъяснения и защиты. Удивился:

— А как же я?

— Время военное и давайте не будем. Приказ есть приказ. Показывайте, где конь.

Лука вжал в широкие плечи свою лобастую голову, сверкнув на командира с откровенной ненавистью, и прохрипел:

— Не дам!

— Корнилов! — повернулся командир к усатому красноармейцу.— Выполняйте!

Корнилов закинул за плечо винтовку и направился во двор.

Лука загородил ему дорогу:

— Не дам!

Глаша выплеснула из кринки воду и заторопилась домой. Иван неловко потоптался на месте и вернулся к своей работе. Красил наличники и никак не мог совладать с дрожью. И жаль было Батятина — все-таки свое, кровное уводили со двора. Ведь если бы уводили со двора Сериковых Буренку, Иван бы наверняка размозжил тому голову. Но наперекор этому в душе пело злорадство. Вот тебе за мою Пеганку, почти задаром увел у бабы лошадь, на сиротском горе руки погрел. А теперь сам плати сполна. Красноармейцы вывели чистых кровей

орловского рысака — серого в яблоках, с еле приметными белыми чулочками на передних ногах. Конь застоялся, пританцовывал, высоко вскидывал морду. Корнилов держал его за повод и не мог скрыть восхищения — вот это конь! Иван и рот раскрыл. Никогда не видел рысака у Луки — гляди, какого красавца прятал от чужих глаз! Красноармейцы провели рысака. Следом шел командир, держа укушенную руку в полусогнутом положении.

Лука хрипел от бессильной злобы. Стоял возле открытых ворот, потрясал кулаками и кричал:

— Христопродавцы! Разбойники! Погодите ужо! Заплатите!

Когда красноармейцы скрылись из виду, Батятин сгорбился, сволок волкодава во двор и гулко захлопнул калитку.

Расхотелось Ивану докрашивать наличники, завтра доделает.

...Утром, когда солнце высушило росу и рассеяло белесый туман над заводским прудом, со станции тронулись в путь два всадника и пустили коней галопом к Верхнему заводу.

Один из них, скакавший на белом в подпалинах коне, был командиром и немалого масштаба. Была на нем полевая фуражка с зеленым околышем, а на месте кокарды виднелось невыгоревшее на солнце пятно. Перекрещен ремнями-портупеями, а сбоку болтался маузер в деревянной кобуре. Держался в седле не очень уверенно, видно, из пехоты. Зато его ординарец, скакавший на малорослой прыткой лошадке, был прирожденным конником. Молодой скуластый башкирин, несмотря на теплую погоду, был в рысьем малахае, хотя остальная одежда была на нем солдатская. За спиной подпрыгивал в такт скачке карабин.

Оба всадника свернули на Озерную улицу, пересекли Нижнегородскую, миновали дом Мыларщиковых, а потом Серикова и Батятина. Спешились у ворот дома де-

душки Микиты. Всадник на белом коне привлек внимание тихой улочки. В окнах появились любопытные физиономии — кто бы это мог быть? Вчера у Луки Батятина увели рысака и застрелили волкодава. Такого еще отродясь не бывало, а потому событие обсуждалось на все лады в каждом доме. Ни одна душа не пожалела Батыза. Теперь прискакали к дедушке Миките, у которого брать-то нечего, кроме белого пушистого кота Васьки.

Всадник легко спрыгнул с лошади и бросил поводья башкирину, который тоже спешился. Поправив фуражку и потрогав пряжку поясного ремня, командир открыл калитку.

Дедушка Микита в огороде поливал парник, держа лейку обоими руками, в одной уже не хватало силы. Гостя он не заметил. Оглянулся только тогда, когда тот кашлянул. Поставил лейку в межу, обтер мокрые руки о латаные штаны и, склонив голову набок, поглядел на пришельца. Глаза видели плохо.

Но все-таки дедушка разглядел, что гость не простой — ишь сколько на груди всяких ремней, а с боку висит деревянная коробка. И сапоги добротные.

— Тебе, хороший, кого надобно? — спросил дед Микита, подходя поближе к гостю. Тот грустно улыбнулся — ох, как постарел отец, как постарел, нет, не таким мечтал его видеть Петр Никитич. Спросил, шутя:

— А кто ты сам-то будешь?

— Да вроде с утра-то Микитой Григорьевым звали.

— Ну коли с утра так звали, стало быть, ты и сейчас Никита Григорьевич по фамилии Глазков.

— А тебя-то как кличут?

— Меня? Да вот с утра-то звали Петром Никитовым по фамилии тоже Глазков.

Дед сгреб правой рукой в горсть белую изжелта бороду, вытянул морщинистую шею, вглядываясь в командира подслеповатыми глазами.

— Петруха? — голос старика дрогнул.

— Не узнал, батя?

— Да как же тебя узнаешь? Ведь сколько годов...

Раскрыл свои натруженные, нераспрямляющиеся руки для объятий Петр Никитович и притянул к себе отца. Почувствовал прикосновение отцовской бороды, пропахшей табаком.

Дед Микита так долго ждал этого момента, а Петр оказался таким незнакомым и чужим, что, обрадовавшись сыну, он вместе с тем оробел и не дал волю чувству.

Петр Никитович глядел на отца, и острая спазма сдавила горло. Десять с лишним лет не видел его. В памяти сохранился бородатым крепышом. А сейчас седой, сгорбленный, худенький. Согнула отца жизнь, высушила.

...Иван Сериков сооружал навес над крыльцом, когда услышал конский топот. Приоткрыв калитку, выглянул на улицу. Опять к Луке? Да нет, остановились у ворот Глазкова. Тот, что был на белом коне, вошел во двор, а который в малахае, остался на улице с лошадьми. Разобрало Ивана любопытство — кто бы мог? Глаша распахнула окно, спросила:

— Не за Лукой ли Самсонычем прискакали?

— К дедушке Миките.

— Уж не Петюшка ли?

— А что? — обрадовался Иван.— Дедушка давно говорил — сулился домой. Пойду-ка погляжу.

Иван застегнул ворот рубахи, пригладил на голове ершик волос. Уже вышел на улицу да вспомнил, что в галошах на босу ногу. Обул сапоги. Башкирин гладил низкорослого коня то по шее, то по морде и что-то говорил ему на своем языке. Белый рысак спокойно помахивал головой и грыз удила.

— Здорово, знаком! — сказал Иван.

— Салам! — отозвался башкирин.

— Издалека?

Башкирин глянул на Серикова темным глазом и ответил:

— Шибко далеко.
— Чей рысак-то?
— Я тебя не спрашивал, ты меня не спрашивал.
— Гляди какой сердитый! — улыбнулся Сериков и открыл калитку.

Дед Микита и гость сидели на крыльце и разговаривали. Хотя и сильно изменился Петр Глазков, но Иван узнал его. У Глазковых свое фамильное обличье — в походке, в повадках. У дедушки Микиты и сейчас проглядывала смуглость, а в молодости-то она была особенно заметна. И Петр такой же. Видно, в роду у Глазковых кто-то был из башкирского или татарского племени. Брови у дедушки остались густыми и сросшимися на переносье, хотя и поседели. А у Петра черные, но тоже густые и сросшиеся.

— Мир дому сему! — сказал Иван. Дедушка Микита повел в его сторону бровью и спросил:
— Ты, что ли, Митрич?
— Да я вот...
— Не узнал? — повернулся Микита к сыну.— Это же Ванюшка Сериков.
— Иван? — воскликнул Глазков.— А ведь слух прошел, будто тебя на фронте...
— Был слух...— подтвердил Сериков.
— Теперича две жизни проживет,— вставил дед Микита.
— Что ж, здравствуй, сосед! — подал руку Петр Никитович. Пожимая горячую Иванову ладонь, вдруг притянул его к себе и обнял. После этого положил обе руки на плечи, печально покачал головой:
— Уже седеешь! Лет на пять меня моложе?
— Пошто же? — возразил дед Микита.— Аккурат на семь. Ванюшке стукнуло семнадцать, когда ты в Уфалей-то ушел, а тебе двадцать четыре. Ну, это не к спеху, после разберемся. Айдате в избу, по такому случаю по маленькой...

— Тогда погоди, отец, надо коней во двор завести, со мной еще ординарец.

— Ну давай, места всем хватит.

— Я, пожалуй, пойду,— сказал Иван.

— У меня дорогой гость, а он пойдет,— проворчал дедушка Микита.

Выпили, захмелели. Дед Микита спросил сына:

— А ты, никак, шишка большая? Без слуги-то и ни шагу.

— Да какой же это слуга? — улыбнулся Петр Никитович.— Это ординарец, у нас с ним права одинаковые...

— Ну уж не скажи, однако ж не ты при нем, а он при тебе. Так как, говоришь, тебя величают-то?

— Комиссаром, батя.

— Раз ты приехал не один, а с ним,— продолжал дед Микита, кивнув головой на ординарца,— я так понимаю — не в гости, а лишь проведать старика...

— Ты, батя, угадал. Время не такое, чтобы по гостям разъезжать.

— Время-то у тебя, видать, и раньше-то не было, коль десять лет мимо дома ездил.

— Что поделаешь! В солдатах был. За большевистскую агитацию чуть не расстреляли да солдаты бежать помогли.

— А то бы кокнули?

— Запросто, батя, по военным временам. Потом в Питер подался, на Зимний в атаку ходил.

— Так ты хоть ночь-то ночуешь у меня? — спросил Микита.

— Нет, батя, недосуг.

— Уж больно такие хитрые дела?

— Хуже и не придумаешь. Чехословаки подняли мятеж, захватили Челябинск, порубили там наших. Теперь развивают наступление на Екатеринбург, Златоуст и Курган. Меня послали сюда. Дорог каждый час, так что

ты, батя, извини меня. Вот разобьем контрреволюцию, приеду насовсем. Тогда и заживем мы с тобой.

— Да уж бог тебя простит. Не доживу я до светлого часа. Стар я стал, Петруха, силы мои на исходе.

— Выдюжишь, ты у меня двужильный!

— Женился али холостяжничаешь?

— Забыл? Я же тебе писал: внуку твоему уже семь лет.

— Вот так фунт изюму! Когда же ты писал-то!? Да где же он у тебя проживает-то?

— В Питере, с матерью.

— А чего ж ты его с собой не взял?

— На войну-то? Он же еще ребенок.

— У меня бы стал жить, у нас тут тихо.

— Ничего себе тихо! Под Аргаяшом бои идут, вот-вот до Кыштыма докатятся, а ты говоришь — тихо.

— Неужто и у нас война будет?

— Уже пришла, батя! Вот спроси хоть Ивана.

— А что Иван! Он сидит возле Глаfamous Гланьки и ни хрена не видит. Он уж всякого наглотался вволю, другому на две жизни хватит. Так ведь, Митрич?

— Это что — верно? — спросил Петр Никитович.— Дома отсиживаешься? Или батя под хмельком это сказал?

— Всю правду он сказал.

— А я думал, ты тут вместе со Швейкиным орудуешь, а ты, оказывается, отсидеться в кустах решил? Это что-то новое для меня. Сейчас ведь серединки нет, Иван Митрич, или — или! Иначе сомнут. Сгоришь, как мотылек на огне.

Сериков вернулся домой почти под утро, выпивши. Глаша помогла ему раздеться, и он как уткнулся головой в подушку, так и уснул. Утром силился вспомнить разговор с Петром Никитовичем. Запомнил лишь одно, что чехословаки подняли мятеж, но он и до Глазкова это

знал. И еще — звал Петр Никитович Ивана к себе, а Иван замял разговор. И Глазков уже смотрел на него как-то отчужденно и больше ни о чем не разговаривал.

Опасная поездка

В Кыштым один за другим прибывали полки Красной Армии — уральские 2-й и 7-й, Костромской, а также рабочие дружины. Борис Евгеньевич бывал на станции и видел эти полки — вооруженные наполовину, по существу необученные. Часто митинговали и то и дело меняли командиров. Рабочие дружины были сильны спайкой и убежденностью в правоту своего дела, они прямо рвались в бой, но они и оружие-то взяли впервые, никакой воинской сноровки у них не было и в помине. Формировалась дружина и из кыштымских рабочих, во главе ее встал отставной солдат Пичугов. Дружина уезжала на Татыш, чтобы там научиться хотя бы азам воинского искусства. Степан Живодеров записался в дружину. Прежде чем уехать, он забежал к Швейкину. Борису Евгеньевичу было очень некогда, ожидали гонцы из Уфалея и Рождественского, да еще представитель из полевого штаба. Но он все-таки выкроил минутку, вышел в приемную к Живодерову.

— Извини, друг Борис,— сказал Степан,— вижу — занят по горло. Хочу одно высказать. Моя Матрена проживет, у меня тут родни целый табор, не думай ничего плохого. Но у Федьки Копылова баба остается одна с тремя ребятишками, не прожить ведь ей, а? А сколько таких, Евгеньевич? Понимаешь о чем я?

— В самом деле,— отозвался Борис Евгеньевич,— а мы в суматохе и не подумали об этом. Ну, спасибо, друг Степан, большое спасибо.

Потом Борис Евгеньевич позвал Тимонина, Дуката и

Баланцова. Думали, думали и вот решили разослать по заводам такую депешу:

«Военно-революционный комитет Кыштымского завода предлагает выдавать жалованье семьям ушедших красноармейцев в ряды РККА, а сильно нуждающимся в продовольствии и дровах выдавать наравне с работающими. Отклонение от настоящего постановления повлечет за собой ответственность по суду».

— Хорошая бумага,— сказал Тимонин грустно,— только в закромах у нас много не наскребешь.

— Сколько есть,— возразил Баланцов. — Небось не век же с этой контрой воевать будем. Глядишь, недельки за две справимся.

— Как знать, как знать,— посомневался Борис Евгеньевич.

В эту ночь Борис Евгеньевич снова остался ночевать в ревкоме. Ульяна заглянула в комнату, когда Борис Евгеньевич уже спал. А за окном вовсю полыхал алым пламенем восход солнца. Ульяна подошла к окну на цыпочках и прикрыла створку, чтобы Швейкин не простудился — утренники были прохладными. Принесла свое пальтишко и укрыла Швейкина. Постояла у изголовья, хотела поцеловать, но испугалась и поспешно вышла из комнаты. Села на крыльцо, укутав плечи шалью, поджала под себя ноги.

Девушка незаметно задремала и проснулась от гулкого цоканья копыт. К ревкому подскакали два всадника.

— Здравствуй, красавица! — поприветствовал Ульяну всадник на белом коне. — Кого же ты караулишь?

— У нас караульщик вон, из красногвардейцев, а я при деле.

— Тем лучше! — воскликнул всадник, спешиваясь и бросая поводья ординарцу. — При каком же, если не секрет?

— Да так,— смутилась Ульяна. — А чо надо-то?

— Швейкина бы.

— Ох, а он только-только задремал. Пусть поспит, а? — она просительно поглядела на черноусого, густобрового всадника.

— Успеет выспаться! Ну, веди меня к нему!

Ульяна тронула Бориса Евгеньевича за плечо. Он сразу открыл глаза и легко вскочил на ноги. Подобрав свалившееся на пол пальто, Ульяна вышла из комнаты, плотно прикрыв дверь. Швейкин торопливо застегнул пуговицы френча и только после этого взглянул на прибывшего. Сразу и не сообразил, кто перед ним, вгляделся сощурившись. И хотя Глазков изменился за эти десять лет, но как же не узнаешь эти густые брови и жгучие пронзительные глаза?

Долго трясли друг другу руки, улыбались от радости, что вот все-таки, наперекор всему, удалось свидеться, правда, в трудной обстановке, но зато хозяевами положения, не то, что было в седьмом году. Забросали друг друга вопросами, каждому хотелось узнать о другом побольше. А потом выяснилось, что Петр Никитович в ревком приехал по срочному делу. Но сбор членов ревкома и без этого был назначен на раннее утро, так что Глазкову оставалось немного подождать. Первым прибыл Дукат. Он оценивающе оглядел комиссара и лишь кивнул головой. Ревкомовцы подходили один за другим. Вот появился Баланцов, приветливо улыбнулся гостю — они, оказывается, уже где-то встречались. Мыларщиков пришел одновременно с Тимониным. Хотел было пристроиться где-нибудь в сторонке да вдруг заметил Петра Никитовича, дорогого своего соседа. Просиял от неожиданности.

— Никак Никитич? — спросил он негромко.

— Миша! — воскликнул Глазков. — Друг ты мой сердешный!

И они обнялись, потом хлопали друг друга по плечам. Когда улеглось волнение, Глазков сказал:

— Я вчера у бати гостил, за тобой посылали, да ты где-то пропадал.

— Дела! — развел руками Михаил Иванович.

Наконец Борис Евгеньевич предоставил слово Петру Глазкову — военному комиссару полевого штаба. Петр Никитович разогнал складки под ремнем гимнастерки и начал:

— Военная обстановка, товарищи, такова. Чехи выставили засаду на разъезде 89 и возле моста деревни Аязгулово. По нашим данным, у противника около 2000 солдат, несколько орудий и десятка три пулеметов. Из Челябинска поступает непрерывно пополнение из вновь формируемых казачьих частей. Не сегодня-завтра чехи и казаки начнут активные действия. Скажу откровенно, к ним мы готовы плохо. Революционный дух наших войск велик, но они плохо вооружены, почти не обучены, если исключить Костромской полк, не отработаны тылы и не налажено снабжение. В этих условиях важно мобилизовать все наличные силы, сделать все возможное, чтобы усилить отпор. В этом смысле мы рассчитываем на солидную помощь ревкома, а также в снабжении армии продовольствием, медикаментами и лошадьми. Очень нужны сестры милосердия. И еще. На шоссе Челябинск — Екатеринбург действует отряд Жерехова. Хорошо бы на связь с ним послать надежного местного человека с особым заданием, я объясню с каким, когда выделите человека. В селе Рождественском дислоцируются три отряда. Один из них под командованием Родина прибыл из Перми. Отряды трудные, беспрерывно митингуют, между собой не ладят. У нас в штабе каждый специалист на учете, некого туда нам послать. И опять же нужен человек, знающий местные условия, с крепкими нервами и твердой рукой. Так что — помогайте!

— Жерехов, Жерехов,— почесал затылок Баланцов. — Это, случаем, не тот, который еще в шестнадцатом году сколотил шайку-лейку?

— Что же вы так непочтительно, Григорий Николаевич,— усмехнулся Дукат. — Боевой же командир!

— Анархист первостатейный. Хотя, возможно, и боевой,— согласился Баланцов.

— Пусть Дукат и едет,— предложил Мыларщиков.— Они знакомы и легче договорятся.

— Не принимается,— сказал Борис Евгеньевич.— Юлия Александровича отзывают в Касли.

Дукат удивленно вскинул бровь — вот так новость! Видя его недоумение, Швейкин развел руками:

— Сам не пойму, в чем дело. Но просили передать, чтобы с отъездом не мешкал. К Жерехову, думаю, надо послать Мыларщикова. Это как раз тот человек, о котором говорил Петр Никитич. Так что получай, Михаил, задание и в путь.

— Ехать так ехать.

— А в Рождественское пусть катит Тимонин,— предложил Баланцов.— Рабочие его знают, там карабашских полно. Да и в военном деле он человек подкованный.

— Кто это его подковал? — усомнился Дукат.

— Вот те на! — удивился Баланцов. — Да ведь Дмитрий Алексеевич воевал на германской, авиатором был.

— Как смотришь? — обратился Швейкин к Тимонину.

— Ничего, мужик головастый,— не унимался Баланцов.

— Ну, коль Григорий Николаевич ручается,— шутливо пожал плечами Тимонин,— тут неудобно и отказываться!

— Что ж, так и запишем,— прихлопнул ладонью по столу Швейкин. — По остальным вопросам — мы еще немного помозгуем.

После заседания к Борису Евгеньевичу подошел Дукат, спросил:

— Может, остаться?

— Нет, Юлий Александрович, дисциплина — прежде всего. Война. Видимо, в Каслях ты нужнее. Тем более согласовано с Екатеринбургом. Так что давай на проща-

нье руку и не поминай лихом. Где-то мы с тобой в несогласье были, но работа есть работа.

— Мало ли чего было! — согласился Дукат. — А поработали мы с тобой, по-моему, не так уж и плохо!

— Вот и спасибо!

Мыларщиков уединился с Глазковым — уточнял задание. Тимонин готовился к отъезду. Баланцов заторопился на свой завод.

Позднее Михаила Ивановича задержал Швейкин:

— Кого берешь с собой?

— Кого мне? Сам справлюсь.

— Не дури! Возьми кого-нибудь из парней. Лесом поедешь или восточной стороной?

— Лесом ближе.

— Поостерегись. Говорят, в лесу всякой шпаны развелось.

Мыларщиков разыскал Кузьму Дайбова. Тот состоял в охране ревкома. Ему до чертиков надоело стоять на часах. Чего тут караулить? Разве что отпетый дурак полезет в ревком для того, чтобы напакостить — Кыштым же наводнен войсками. Пробовал уговорить Мыларщикова отпустить его на Татыш в рабочую дружину. Да разве Михаила Ивановича уговоришь? Никак не может забыть самовольства со Степкой Трифоновым. Приглашение поехать к Жерехову застало Кузьму врасплох. Он сначала растерялся, а потом обрадовался.

Через несколько минут они вышагивали по Большой улице.

Выбрались из Кыштыма в полдень верхом на конях. За кордоном дорога нырнула в густой сосняк и извилисто пробивалась, нащупывая менее заросшие места. Всадникам порой приходилось нагибать головы, чтобы уберечься от злых колючек. Местами сосняк расступался и по сторонам выстраивались медноствольные сосны, которые на высоте смыкались зелеными кронами, застилая солнце. Ехали будто по ущелью. Иногда сосны торопливо

убегали в стороны, и тогда слева блестела глянцем листва берез, а справа вставали заросли черного ольховника и черемушника. В редких просветах блестела светлая полоска воды — за кустами пряталось озеро Иртяш.

У речки Букоян всадники спешились. Нашлась краюха хлеба, круто сваренные яйца. Молча умяли еду, запили студеной водой, покурили всласть и снова вскочили на коней.

По сведениям штаба, отряд расположился в деревне Куяш. Михаил Иванович там однажды был, поэтому дорогу помнил. Миновали избушку лесника. На рысях одолели подъем в гору. Оглянулись. На юг распростерлись тяжелые темно-синие складки тайги, левее блестело на солнце неоглядное озеро Иртяш. Дорога круто покатилась под уклон, завиляла между соснами. Верст через пять лес кончился, и открылась безлесая местность. Дорога легла по земляной дамбе между озер. Возле дамбы всадников обстреляли. За спиной стеганул винтовочный выстрел, дробным эхом рассыпался над лесом. Пуля пискнула сбоку. Кузьма пригнулся к луке седла.

— Жми! — крикнул Мыларщиков и что есть силы огрел своего коня. Вороной взвился на дыбы, но подчинился твердой руке хозяина и взял наметом. Гикнул по-разбойничьи Кузьма. Грохнуло сразу несколько выстрелов — стреляли в спину. Кони отбили поспешную дробь по настилу мостика. Запоздало прогремел еще один выстрел, и конь Кузьмы споткнулся. Седок вылетел из седла и упал на дорогу.

Михаил Иванович упруго спрыгнул на землю и подбежал к Кузьме. Тот тяжело поднялся. Ушибся. Из ссадины на щеке сочилась кровь. Лошадь стояла понуро, на мокром крупе мелко подрагивала кожа. Чуть повыше коленного сустава из ранки струйкой стекала кровь.

— Жив? — спросил Мыларщиков у Кузьмы. Тот вдруг взбесился. Сорвал со спины винтовку и бросился было об-

ратно, к лесу, откуда их обстреляли. Выстрелил на ходу, заорал во всю глотку:

— А ну выходь, гужееды сопливые! Я вам дам!

Погрозил винтовкой и успокоился. Отряхнулся от пыли, промыл поцарапанную щеку.

— Ты чо на пулю-то лезешь? — укорил его Михаил Иванович.

— Гужееды сопливые,— проворчал Кузьма. — Подлые трусы! И стреляли-то в спину.

До Каслей оставалось версты полторы. Окраинные домики — вот они, рядом. Церковь на главном бугре блестит куполами. Коней повели на поводу. Конь Кузьмы обезножил, припадал на раненую ногу. Когда добрели до окраины, Михаил Иванович сказал:

— Пойдешь к каслинским товарищам, они тебе помогут. А я до Жерехова — один.

— Я с вами.

— Пешком, что ли? Делай, что сказано!

Михаил Иванович помахал Кузьме и стегнул плеткой Вороного. «Вот паразиты. Ни с того, ни с чего обстреляли, подбили такого доброго коня. Банда какая-нибудь, из кулачья»,— подумал Михаил.

К Куяшу Мыларщиков подскакал, когда солнце заметно клонилось книзу. Синева окутала даль. Назойливо звенели комары. Михаила Ивановича остановили на въезде два бородатых мужика в шапках, с берданками за плечами.

— Слезай, приехали,— хватая лошадь под уздцы, сказал один из них, у которого борода росла клином.

Мыларщиков спрыгнул на землю и сразу угодил в объятья ко второму мужику. У этого борода окладистая. Если бы не разные бороды, мужиков различить было бы трудно. И росточка одинакового, и рубахи у них холстяные, и берданки, словом, мужики как близнецы-братья.

— Полегче,— повел плечом Михаил Иванович, и му-

жик сообразил, что этого рыжего всадника силенкой бог не обидел. Отступил шаг назад, спросил:

— Кто таков?

— Представитель Кыштымского ревкома.

— Сымай ремень и гони сюда револьверт.

— Не шуткуй, дядя!

Мыларщиков на всякий случай отступил назад. Он никак не ожидал прыти, с которой мужик с окладистой бородой бросился на него. А второй закричал тоненьким голоском:

— Шпиена пымали! Шпиена пымали!

Из крайней избы выскочило около дюжины мужиков и понеслось к месту схватки. Мыларщиков откинул от себя бородача легко. Тот прошелся по земле винтом и завалился прямо под ноги Вороному. Но револьвер Мыларщиков вытащить не успел. На него навалилась целая ватага, быстро скрутила руки, сняла ремень. Кто-то ударил по скуле, и у Михаила Ивановича полетели из глаз сине-зеленые искры. Стащили сапоги. В таком растерзанном виде провели через Куяш, втолкнули в каменный сарай на берегу озера. Двери железные, скрипучие. Похоже, повесили замок. Влип! Вместо жереховского попал в кулацкий отряд. Еще сапоги сняли. А под стелькой спрятан мандат, подписанный Швейкиным: мол, такой-то действительно является членом ревкома и направляется на связь в отряд Жерехова. Может, и к лучшему, что оставили без сапог? А вдруг докопаются? Скулу саднило. Даже потереть не мог — руки связаны. На улице тепло, а здесь сыро, мыши в углу попискивают. Ни одного окна. Только наверху, сквозь дырявое железо, льется слабый вечерний свет. Потолок растащили по досочке, уцелели толстые матицы.

«Как же я дал маху? Швейкин предупреждал — поостерегись. Что они со мною сделают? — размышлял Михаил Иванович. — Расстреляют? Скорее повесят. Кулачье, лютее врага нет. Просто не дамся. Глотку пере-

грызу. Жаль, попался по-глупому. С Кузьмой черта с два дались бы мы бородачам! Постреляли бы их, как ворон».

На деревне тихо: амбар на отшибе. Да и церковь рядом. Возле нее шуметь не будут. Руки стянули на совесть, в плечах больно, кисти затекают. Михаил Иванович попытался подняться на колени, чтобы встать на ноги. Сумел, подошел к двери. Обита железом, а снаружи накладка чугунная — такую сорвешь только динамитом. Торкнулся плечом. С улицы угрожающе донеслось:

— Не колготись!

— Пить хочу!

— Можа, кваску подать?

— Руки развяжите!

— Можа, перину принести? Ну отваливай от двери. А то как садану!

— Я те садану, гужеед поганый. Ты ведь и стрелять не умеешь!

— За гужееда — знаешь? Разрисую и тятя с мамой не узнают,— рассердился часовой и для острастки раза два бухнул прикладом по двери.

В углу Михаил Иванович приметил кучу прошлогодней высохшей конопли. Опустился на нее, привалившись спиной к стене. Острые каменные ребра больно впились в тело. Лег на бок — голову никак не мог приспособить. Наконец плечом сумел сгрудить коноплю, что-то вроде валка получилось. Примостил на него голову. Успокоился. Не о стенку же биться головой от отчаянья. Вспомнил встречу с Петром Глазковым, представил укоризненный взгляд Швейкина — подкачал, же ты, Михаил! А мы на тебя надеялись.

...Пришли за ним утром два молодых молчаливых башкирина. Подтолкнули пленника вперед и двинулись следом, отставая на полшага. Утро занялось тихое, умиротворенное. Озеро лежало без единой морщинки. На тополях резвились синицы, где-то невидимые гомонили во-

робьи: прямо базар птичий открыли. Коза паслась в церковной ограде, черная, рогатая. На дороге в пыли купались куры.

Мыларщикова привели в просторную избу. За столом восседал усатый солдат с нахальными глазами. Окинул пленника насмешливым взглядом. Башкиры молча замерли у двери.

— Садись, на чем стоишь,— усмехнулся солдат.

— Развяжите мне руки,— попросил Михаил Иванович.

— Ты ко мне, что ли? — спросил солдат, вынимая кисет.

— Ежели ты не бандит, то к тебе.

— Нно-нно! — вскочил солдат. — За такие слова я тебя мигом в Могилевскую губернию отправлю! Без пересадки!

— Отправишь,— скривился Мыларщиков и, ногой придвинув табуретку, сел. Усатый свернул цигарку и, прикурив, тоже сел. В окно заглянула чернобровая молодка и спросила:

— Захар, ты Никишку не видел?

— Могу за него!

— Нужен ты мне, мухортый! — дернула плечом молодка и исчезла.

Захар качнул головой, не тая улыбку, и сказал для самого себя:

— Ах ты, бархотка болотная!

В сенках послышались тяжелые шаги, дверь распахнулась, и в избу ввалился крупный мужчина в офицерском кителе, в синих галифе. Чуб вывалился из-под козырька фуражки. Вид бравый. В руках нагайка. Похлопывает ею по голенищу. Башкиры вытянулись в струнку. Захар вскочил, пряча за спиной цигарку.

— Здорово, Захар!

— Здравия желаю, товарищ командир!

У Мыларщикова заплыл левый глаз, ему легче было

смотреть, если щурил правый. Так и взглянул на вошедшего вприщур. Удивился: гляди-ко, даже — товарищ командир! Неужто это все-таки Жерехов?

Командир остановился возле Мыларщикова, покачался на носках, спросил:

— Кто таков?

Мыларщикова захлестнула дикая ярость. Он резко поднялся с табуретки, чуть не упал и выдохнул:

— Ты сам кто таков? Кто ты таков, чтоб держать меня в амбаре со связанными руками?! Кулачье отродье!

У чубатого медленно налилось кровью лицо, шея пошла красными пятнами. Башкиры сделали шаг вперед, готовые на все. А в нахальных глазах Захара застыла усмешка — то ли ему было любопытно, как поведет себя командир, то ли усмехался над безысходной долей пленника.

— Развязать! — коротко приказал чубатый и с силой ударил нагайкой по голенищу. Захар перочинным ножиком перерезал путы.

Михаил Иванович некоторое время держал руки перед глазами — пальцы синие, тугие надавы на запястьях. Потом тихонечко потер ладонь о ладонь — в себя приходил. А ноющая боль в плечах не исчезала.

— Говори — кто таков? — властно потребовал чубатый.

— Представитель Кыштымского ревкома Мыларщиков.

— Куда шел?

— К Жерехову.

Захар остро глянул на командира и увидел в его взгляде растерянность. Мыларщиков убедился окончательно, что перед ним сам Жерехов.

— А чем подтвердишь?

— Вели вернуть мне сапоги.

Жерехов повел глазами на одного из башкир, и тот, поняв приказ, выскользнул из избы.

— Дай закурить,— попросил Мыларщиков у Захара, и тот с готовностью протянул кисет.

— Как же ты неосторожно попался моим бородачам? — спросил Жерехов с ноткой иронии.

— Бородачи! — качнул головой Михаил Иванович.— Тати с большой дороги. Кулачье!

— За кулачье обидеться могу.

— Хрен с тобой. Я б им по волоску бороды повытеребил. Ни за что, ни про что — раз и в амбар упрятали. Да ограбили вдобавок.

— Мои люди не грабители! — опять налился кровью Жерехов. — Не забывайся! — и он со смаком хлестнул себя по голенищу нагайкой. Вот бьет, варнак, из всей силы — неужели не больно?

— Тогда зачем же сапоги стянули? А зажигалку? Сам из патрона на заводе сделал.

— Вернут!

— Не надо было брать!

Появился башкирин и бросил на пол сапоги. Мыларщиков взял правый, сунул руку во внутрь и облегченно вздохнул — цел мандат!

Вечером по Кыштыму, со стороны Каслинского выезда, мимо Белой церкви, проскакала кавалькада. Впереди на сером жеребце Жерехов, на вороном — Мыларщиков, а за ними — полувзвод конных башкир.

Первым в кабинет Швейкина ввалился Жерехов, с лихим, независимым видом. Небрежно козырнул, так что нагайка качнулась на ремешке:

— Жерехов!

Вот он какой, Жерехов! Человек по-своему легендарный. Наслышался о нем Борис Евгеньевич вдоволь, когда вернулся из ссылки. Бунтарь с атаманскими замашками, этакий новый Стенька Разин. Служил в армии, подговорил солдат не повиноваться начальству — бунт учинил в полку. По законам военного времени был приговорен к смертной казни. Но бежал, скрывался в лесах у

Иртяша, пригрел возле себя дизертиров, принимал башкир, которым вообще было невмоготу от царских притеснителей. Так в шестнадцатом году сколотил отряд и наводил ужас на местных богатеев. После февраля семнадцатого года Жерехова пытались склонить на свою сторону и меньшевики, и эсеры, и анархисты. Посылали своих комиссаров и большевики. Но Жерехов не признавал никого, упрямо отстаивал свою смутную идею борьбы за трудовой народ, не замечая того, что постепенно скатывался в болото анархии.

Жерехова не на шутку встревожили события в Челябинске, когда с помощью чехов местные белогвардейцы расправились с советской властью. Он понимал, к каким последствиям может привести успех мятежа. Поэтому и согласился ехать в Кыштым и выяснить ситуацию. Он знал, что по указанию из Екатеринбурга создан Кыштымский ревком с неограниченными полномочиями на территории, охватывающей район военных действий и ближайший тыл. Кое-что слышал Жерехов и о Швейкине и сейчас с любопытством рассматривал его. С первого взгляда ничего мужик, с живинкой в серых глазах, симпатичный. Лоб красивый — мыслителя. Умница, видать. Только чахлый какой-то, нет в нем уральской могутности. Все они такие, понюхавшие царской каторги.

— Прошу,— пригласил Швейкин Жерехова. Они уселись друг перед другом. Михаил Иванович остался у двери и старался повернуться к Швейкину боком, чтобы не показать синяк. «Эге! — догадался Борис Евгеньевич. — Что-то у них там приключилось!» Сказал Жерехову:

— Рад познакомиться. Наслышан, откровенно говоря, всякого.

— Земля слухом полнится,— улыбнулся Жерехов. — А по ней мы ходим да еще топаем — вот гул-то и несется. О вас тоже слышал.

— Вот видите! — воскликнул Борис Евгеньевич. —

Оказывается, мы заочно и знакомы. Тогда и к делу перейти легче.

— Пожалуй,— согласился Жерехов.

— Мятеж белочехов создал весьма критическую обстановку на Урале. К нему присоединилась внутренняя контрреволюция. Вопрос поставлен ребром: или — или! Или революция будет жить, или нас раздавят. Середины нет. И людей, которые занимают позицию ни нашим и ни вашим, не должно быть. Если они сейчас и есть, то в самом скором времени им придется решать: с кем и против кого. Вы меня поняли?

— Примерно.

— Белочехи заняли Аргаяш. Мы в спешном порядке создаем оборону в районе Бижеляка и подтягиваем туда силы. Рассчитываем на вашу помощь.

— Какую?

— Конкретно какую, определит штаб. Сейчас важно выяснить вашу принципиальную позицию.

Жерехов задумался, по привычке тихонечко постукивая нагайкой по голенищу. Хмуро поглядывал на Мыларщикова, усмехнулся чему-то.

— Как я понимаю,— сказал Жерехов,— мой отряд должен войти в подчинение штабу?

— Само собой.

— Тут много сложностей. Я человек военный и представляю меру ответственности и что такое единая воля. Особенно в такой сложный момент. Но вы не знаете моих людей, их особого настроения...

— Какое же может быть настроение, если над всеми нами занесен кровавый меч контрреволюции?

— С этим согласен. Мои люди будут драться с иностранными пришельцами, нет им места на русской земле. Но мы должны сохранить за собой свободу маневра, а указания штаба нас могут связать по рукам и ногам.

Борис Евгеньевич исподволь приглядывался к Жерехову. Фуражку тот не снял. На висках поблескивали се-

дые волосы. Под глазами мешки в паутинах морщинок, нос чуть вздернутый, задорный такой. Подбородок властно выступает вперед. Губы тонкие, над ними пшеничные усики. По губам — жесткий, своевольный, по глазам — умный, расчетливый, себе на уме. Что ему ответить на «свободу маневра»?

— Все должно быть подчинено одной революционной воле. Договорились? — спросил Швейкин.

— Договорились.

— А в курс военных дел вас введут в штабе.

Жерехов собрался уходить, покачался на носках возле Мыларщикова, усмешка тронула тонкие губы:

— Не серчай, приятель, на моих бородачей. Они малость перестарались. Но в нашем деле лучше перестараться, чем недостараться.

— Бородачи стоящие, что и говорить. Только шибко-то воли им не давай — заездить могут.

— Ничего! Бог не выдаст, свинья не съест! Прощевайте! — Жерехов помахал нагайкой, и через минуту за окнами послышался топот копыт — отбыл чубатый командир со своей охраной на станцию в штаб, получать задание.

Дружинники

Борис Евгеньевич собрался на Татыш. Не сегодня-завтра кыштымская дружина должна уйти на Бижеляк и получить свой участок обороны. А пока рабочих учили ползать по-пластунски, стрелять по мишеням, окапываться.

Дружина жила на берегу озера, в наскоро построенных шалашах. Борис Евгеньевич прибыл туда в разгар учения. Солдат Пичугов, невзрачный и сухощавый, с неистребимыми конопушками на круглом лице, лежа на земле и держа винтовку в правой руке, чуть завалившись набок, басистым голосом объяснял своему войску, лежащему на еланке в непринужденных позах:

— Так вот— левая нога подогнута, а рука выкинута вперед, правая нога — выпрямлена, а в правой руке винтовка. Ясно?

— Ясно — понятно!

— Ии-рраз! — наоборот: правая нога подогнута, правая рука с винтовкой вперед, тогда как левая нога выпрямлена. А ну пошли!

Пичугов полз, словно ящерица, низко пригнув голову и все же непостижимым образом успевал видеть все впереди себя и по сторонам. Это позволило ему первым обнаружить Швейкина и принять решение. Он пружинисто вскочил, кинул винтовку на ремень за правое плечо и гаркнул.

— Встать!

Дружина с удовольствием повиновалась — до чертиков надоело утюжить землю брюхом.

— В две шеренги становись! Равняйсь! Смиррно!

Пичугов, печатая шаг, насколько это было возможно на травянистой еланке, подошел к Швейкину и отрапортовал:

— Товарищ председатель ревкома! Отряд кыштымских добровольцев учится ползать по-пластунски!

— Здравствуйте, товарищи!

В ответ прогудело «здравия желаем!», а кто-то гаркнул «ваше благородие». В строю хихикнули. Пичугов скомандовал:

— Перекур!

Швейкина окружили. Поплыли по рукам кисеты. Сизый дымок взвился над безветренной еланкой.

— Кто у вас «благородие» гаркнул? — улыбнулся Швейкин.

— Мелентьев, кто же еще,— протиснулся к Борису Евгеньевичу Степан Живодеров.— Он у нас чо-нибудь да отмочит. Так что ты, друг Борис, не обижайся.

— А по мне хоть горшком называйте, только в печь не ставьте,— отозвался Швейкин.

— Так и запишем,— сказал Мелентьев, по-улошному Бегунчик. Он бочком, бочком пробился к Борису Евгеньевичу и спросил на полном серьезе:

— А Кыштым все на месте, а тут баяли, будто он к Липинихе пододвинулся?

— На месте,— ответил Швейкин.

— Вот видишь,— повернулся Бегунчик к Живодерову.— Я же говорил — на том же месте. А вот Степан из кожи лез и кричал — будто пододвинулся к Липинихе.

— Да ты чо — белены объелся? — удивился Степан.— Когда это я тебе так говорил?

— Вот так фунт изюму! — всплеснул руками Бегунчик.— Братцы, вы же слышали — вчерась вечером, когда мы после баланды ходили к селезневским бабам.

Пичугов, не любивший вольностей и признававший одну дисциплину — воинскую, спросил:

— Как оно там, товарищ Швейкин, с чехами?

— Пока худо.

— Как это худо? — встрепенулся Живодеров.

— А так. У них выучка, железная дисциплина, пушки и пулеметы.

— Выходит, сильнее они?

Обстоятельный Пичугов заявил:

— Соображение имею, товарищ Швейкин. Белого чеха воевать принудили, я так понимаю. Родина у него далеко, дать ему раз-другой промежду глаз, и он запросит прощения.

— Во! — восхитился Живодеров.— Да мы их за грудки и душу вон! Мы, небось, все же дома. Подумаешь, чех объявился! Так что нас, друг Борис, не пугай.

Борис Евгеньевич пригласил всех сесть. Рабочая дружина, насчитывающая более ста человек, образовала круг, в центре оказался Швейкин. Знакомые все лица. Ба, и Шимановсков здесь, а рядом кто? Так ведь это же Димка Седельников, сосед, сын Ивана Ивановича. Сам-то Седельников дуется за то, что Дукат сгоряча упрятал его

в кутузку. Здороваться здоровается, но в глаза не смотрит.

— Я склонен, товарищи, считать разговор о противнике шуткой. Если вы в самом деле думаете закидать мятежников шапками, то сильно заблуждаетесь. Чехословацкий корпус — это высокоорганизованная и до зубов вооруженная сила. И они не одни — с ними контрреволюционное казачество. А кто такие казаки — не вам рассказывать, они тут на заводе посвирепствовали вволю. Учтите, казаки с малых лет в седле и учатся стрелять. Так что, друг Степан, не пугать я вас сюда приехал, а сказать правду, чтоб вы не обольщались, представляли бы реальную опасность.

Слова Швейкина внесли заметное смятение. Не было ни одного человека, который бы сомневался в скорой и легкой победе. И вдруг не обольщайтесь, потому что белые чехи и казаки — сила! Сказал бы это кто другой, на смех бы подняли. Прогнали бы взашей. А то сам Швейкин сказал. Кому же еще верить, как не ему.

Пичугов вздохнул:

— Трудно поверить, товарищ Швейкин, но раз вы толкуете — будем думать, как их одолеть. Мы ведь тоже не лыком шиты. Так, братцы?

Загудели-загалдели. Хоть и сникли малость, но истинная правда заставит их задуматься и по-серьезному взглянуть на положение. А то пока еще учение воспринимали больше как игру. Чем утюжить землю по-пластунски, лучше скорее в бой. А там покажем! Но, оказывается, все сложнее!

Когда беседа закончилась, к Швейкину подошел Живодеров. Борис Евгеньевич сказал:

— Спасибо за ту подсказку — все сделали, как надо. Так что Матрена твоя и другие без харчей не останутся.

— Вот за это тебе спасибо! Молодец, что послушался. Всему народу объявлю. А неужто прыткий такой, этот белый чех, холера его забери?

Но видел Борис Евгеньевич, Степан все еще тот митинг забыть не может. Похлопал его по рукаву и улыбнулся:

— Не переживай! Кто старое помянет — тому глаз вон.

— Ладно, не буду,— сказал Степан.

До дрезины, на которой Швейкин приехал, его провожали всей дружиной. Шимановсков протянул руку:

— Ну как, Василий? — спросил Борис Евгеньевич, прощаясь.

— Все было бы прекрасно, да вот неловко спать в шалаше. Еще лягушек боюсь и змей. А этот жолнеж — Пичугов, значит, в село спать не пускает. А там такие паненки!

— Ничего, привыкнешь,— улыбнулся Борис Евгеньевич и поманил пальцем Седельникова: — Твоим передать что-нибудь?

— Нет,— потупился Димка.

— Та этот хлопчик сбежал от родителей,— заметил Шимановсков.— Они ж не пускали его.

Когда Швейкин вернулся в Кыштым, в первую очередь завернул домой. Екатерина Кузьмовна накормила его горячими пирожками. Борис Евгеньевич заспешил в ревком. Позвонил, наконец, из села Рождественского Тимонин. Хрипел в трубку, еле-еле слова разобрать можно было. Простудился, что ли? Однако нет — сорвал голос на митингах.

— А чего митингуете-то?

— А так! Кто в лес, кто по дрова. Ну скажу тебе — публика! Всякого видывал, а это наособицу! Мать анархия! Избрали меня командиром отрядов.

— Тебя!? Надо же! — только и сказал Борис Евгеньевич.— Что ж, командуй, раз избрали. Задачу-то тебе штаб поставил?

— Приказано выходить к Аргаяшу. Да, понимаешь, опять митинг собрали: идти или не идти?

— И вправду — анархия. Может, послать кого-нибудь на подмогу?

— Воздержись пока.

Тимонин повесил трубку.

Забежал Алексей Савельевич, озабоченный, хмурый. Спросил:

— Хреновы, говоришь, дела?

— Ну не такие уж и хреновые, но затылок почесать есть от чего.

— Так клич кликнуть — кыштымский народ от мала до велика поднимется.

— Дорогой Савельич, все это, конечно, так. От такого клича был толк во времена Александра Невского: кто оглоблю в руки, кто кувалду и айда — пошел бить псов-рыцарей. А теперь пушки да пулеметы. Белочехи в роте по пулемету имеют, а мы? А мы с чем пойдем?

— Выходит, управы на них нет?

— Ну почему же? Погляди, что на станции-то делается. Эшелоны прибывают. Будем драться. Сил у нас хватит да вот ладу нет, Савельич. Порядка маловато, оружие плохое. Только что Тимонин звонил из Тютняр — митингуют, говорят, идти в бой или по избам отсиживаться. Или тот же Жерехов — свободного маневра требует. А для него такой маневр что? Как прижмут, чтоб в кусты спрятаться имел право: мол, свободный маневр. Наша публика на Татыше по-пластунски ползать учится, и в огонь и в воду готова, а выучка? Нет ее!

— Эх, знать бы да пораньше по-пластунски-то начать? Али на заводах, Якуня-Ваня, пушки делать, как при Емельке Пугачеве?

— Все это очень сложно. Пушки делать тоже. Мастера нужны.

— Да, не дали нам времечка подготовиться. Сердце у меня болит, места не нахожу. Всякая дурная мысль в голову лезет, а тут еще завод на ладан дышит. Потухла литейка-то, Евгеньич, потухла кормилица.

Савельич уперся руками в колени и спросил:

— Чо делать-то?

— Пока помогать войску. Харчи нужны, милосердных сестер подбирать, лазарет приготовить.

— А на худой конец?

— Худой конец нежелателен, но коль случится, мы уйдем. А ты, Алексей Савельевич, останешься. Кто-то должен остаться с кыштымским народом. А нам нельзя — мы слишком заметные.

Савельич, уходя, сказал:

— Охо-хо-хо! Наговорил ты мне всякого, но все равно вроде посветлее стало — будто глаза промыл после сна. Побегу ужо, а то Баланец запарился. И ведь смотри: наново дело начинать — хлопот полон рот. Однако и закрывать — дел не меньше. Вот какая оказия, Якуня-Ваня! Молодые в добровольцы подались, а старики в механических мастерских трудятся — не иначе ружья ремонтировать придется. А как же!

Старик попрощался, напялил кепку и, как всегда, сгорбившись, вышел из кабинета. Борис Евгеньевич только сейчас обратил внимание на отсутствие Ульяны. Куда же она подевалась? Аккуратная, всегда исполнительная — а тут тишина! Швейкин обошел здание, спрашивал у сотрудников, но никто ему толком не мог объяснить, куда исчезла девушка. В бывшем замельно-лесном отделе счетовод-старикашка, который не расставался с черными нарукавниками, поглядев поверх очков на Швейкина, сказал:

— Так она, гражданин председатель, ушла. Надо полагать на Татыш.

— Как на Татыш?

— По всей вероятности, сестрой милосердия. Тут ее матушка приходила, отговаривала, а девка не послушалась. Своенравная нынче молодежь пошла!

Вот оно что! И главное, не предупредила. Зачем же она так? Первым желанием было скакать на Татыш, вер-

нуть Ульяну. Привык к ней, к ее исполнительности, к тому, что она всегда появлялась именно в тот момент, когда была нужнее. А после памятного объяснения на крылечке, после разговора с Мыларщиковым у Мареева моста, Борис Евгеньевич уже был не властен над своими чувствами к Ульяне. Зачем же Ульяна сбежала, не сказавшись?

Дома, куда он вернулся с рассветом, усталый до бесконечности, увидел на столе завернутый в платочек пакетик: Ульяна возвращала ему письмо, которое брала почитать. А в нем записка. В комнате еще сумеречно. Пододвинулся к окну и прочел:

«Борис Евгеньевич! Не ругайте меня — я ушла. С вами рядом хорошо, да не могу. Буду в дружине сестрой милосердия. Не обижайтесь, ради бога. Уля».

...Каслинские товарищи с сочувствием отнеслись к беде Кузьмы, обещали приглядеть за раненым конем и подлечить его. Но взамен коня не дали. Оставаться в Каслях не хотелось, и Кузьма искал случая, чтоб оттуда выбраться. Такая оказия подвернулась. Какой-то дед Гилев собирался по делам в Маук и согласился подвезти Дайбова. В Мауке Кузьма дождался эшелона и с ним докатил до Кыштыма. По дороге окончательно решил двинуть в Татыш и там разыскать рабочую дружину — в ней был Димка Седельников.

В Кыштыме эшелон стоял долго, и Кузьма успел сбегать домой. Уже вечером он был на Татыше, среди своих кыштымских мужиков. К своему удивлению, увидел там и Ульяну. Она повязала голову косынкой, на рукаве блузки бросалась в глаза белая повязка с красным крестом.

Рабочая дружина под командованием Пичугова заняла оборону на опушке березовой рощи. Окопалась. Земля глинистая, искрасна. Пришлось брустверы маскировать папоротником. В окопе изнывали от жары сторожевые, а остальные дружинники прятались в тени рощи. Приезжал с утра Лопатышкин (высокий белокурый здоровяк лет

тридцати, командир всех рабочих дружин — и каслинских, и уфалейских, и карабашских), осмотрел окопы, остался доволен кыштымской обстоятельностью. Сказал Пичугову, что впереди на разъезде окопался полк красноармейцев под командованием Декана. По ту сторону дороги стерегут фронт костромичи, а позади них готовятся к бою бойцы Кавского. Так что участок относительно спокойный.

Кузьма примкнул к Живодерову, а возле него был уж Димка Седельников с Шимановсковым. Живодеровы и Седельниковы — соседи по домам, так что дядю Степана Димка знал с малолетства.

Шимановсков появлению Кузьмы обрадовался бурно. Димка же встретил его хмуро. Все еще переживал размолвку с отцом. Когда собирался уходить на Татыш, отец заявил:

— Я те уйду! Возьму чересседельник и отлуплю за милую душу. Они твоего отца в кутузку запрятали ни за что ни про что, конягу чуть со двора не свели, а он воевать за них. Не бывать этому!

— Так то ж Дукат, он же известный горячка, все же знают!

— Мал еще учить меня. Уйдешь — домой больше не вертайся!

А Димка знал: отец слов на ветер не бросает.

Шимановсков говорил безумолку — и про солдата Пичугова, который замучил всяческими учениями, и про стрельбы, вспомнив, как он на Амбаше подстрелил Петрована, за что Петрованиха огрела его по спине дрыном, и про лягушек и змей, которых боится с детства. Живодеров сказал:

— Послухай, ну прикрой свой фонтан, ради бога!

— Ах, пан Живодеров, черствый ты человек, вообще все кыштымские мужички себе на уме, да я вот не таковский, не приведи, Езус Мария, сделаться таким же. Э да что говорить с вами!

Кузьму стало клонить ко сну. Он положил голову на

руки и заснул. Снился ему огромный костер на томилках, веселый и здоровый отец. А в руках у него сорока. Она трясет длинным хвостом и человечьим языком рассказывает сказку про рыбака Липунюшку. А Шимановсков целится в сороку из берданки, почему-то улыбается. Кузьма хочет остановить его — ведь заместо сороки и отца убить может, как на Амбаше подстрелил Петрована. Кричит, а крика-то не получается...

Между тем солнце спряталось за горизонтом. В роще стало сумеречно и прохладно. Пичугов ходил по роще, проверял, все ли на месте.

Мало-помалу стихли разговоры, потухли последние цигарки. То тут, то там слышался ядреный храпоток.

Степан и Кузьма проснулись, когда совсем рассвело. Из-за горизонта выкатился громадный красный шар — солнце. Где-то впереди возникла отчаянная стрельба, затакал пулемет. Ухнули пушки. Это слева, за железной дорогой. Чехи потревожили костромской полк. А тот огрызнулся.

Стрельба нарастала. Пичугов поднял дружину и разместил в окопах. Сонливость как рукой сняло. Стрельба между тем распространилась на железную дорогу, а после, похоже, в бой вступила часть, держащая оборону перед кыштымцами. Напряжение усилилось. Смолкли разговоры. Рядом с мелким окопчиком, в котором устроились Степан и Кузьма, тихо опустилась на траву Ульяна. В сапогах, в черной юбке, в вязаной кофточке поверх блузки.

— Здравствуй, Кузьма,— сказала она.— И вы тоже здравствуйте, Степан Тимофеевич. Можно, я с вами побуду?

— А чо,— согласился Степан,— оставайся.

В это время со стороны Аргаяша показались отдельные красноармейцы, потом и целые группы. Они миновали сквозную березовую рощу, оглядываясь.

— Похоже, бегут,— встревожился Степан.— Эка ведь как чешут! — Пичугов выпрямился во весь рост над око-

пом, опираясь на винтовку, и наблюдал с беспокойством за приближающимися красноармейцами. А тех становилось все больше и больше. В это время от разъезда Бижеляк на белом коне вырвался всадник, а за ним на низкорослой башкирской лошади скакал его ординарец в малахае. Всадник на белом коне держал в руке маузер, а другой тянул повод узды. Он летел красивым наметом, пригнувшись к луке седла, а всадник в малахае еле-еле поспевал за ним, держась в седле почти прямо. Пичугов сказал:

— Комиссар Глазков!

Глазков встретился с первыми бегущими красноармейцами, что-то крикнул им, размахивая маузером. И красноармейцы остановились, в нерешительности топчась на месте. К ним приблизились другие. Тогда Глазков потянул на себя повод так, что конь поднялся на дыбы и заплясал на месте, а затем несколько раз выстрелил в воздух. Теперь уже никто не бежал, все сгрудились возле всадников. Глазков соскочил с коня, кинул поводья ординарцу, а сам пошел крупным шагом вперед, в сторону Аргаяша. За ним потянулись сначала единицы, а затем и все остальные.

В этот день сводным рабочим дружинам в бой вступить не пришлось. Вдруг ночью снялся со своих позиций полк, которым командовал Декан, и отошел к Бижеляку. Таким образом, перед рабочими дружинами не оставалось заслонов и они с часу на час могли быть атакованы противником. Бой вспыхнул утром.

Первым вражеских разведчиков увидел Кузьма. Трое солдат в серой форме будто вынырнули из-под земли возле мелкого сосняка, который темнел в полуверсте от окопов. Кузьма опешил, а потом заорал:

— Братцы! Белые чехи!

В окопах зашевелились. Пулеметчик Михаил Мещеряков, смуглый и большелобый мужик лет двадцати двух, щелкнул замком пулемета, поправил ленту и сказал второму номеру:

— Смотри, прямо подавай!

Степан Живодеров передернул затвор, прицелился и бабахнул во вражеских разведчиков. Но до них было далеко. Пичугов крикнул:

— Не стрелять без команды!

Разведчики скрылись. И началось. Над головами дружинников прошелестели снаряды и разорвались в глубине рощи. Только стон пронесся по березам. Стрельба оказалась не прицельной, а для острастки, и вреда никому не принесла. Да и кончилась тотчас же. Потом появились цепи противника. Раскинулись широко — на всю еланку.

Кузьма лежал в окопе и наблюдал за приближающейся цепью. Едва различаются очертания серых фигур. Идут, идут. И вот уже проявляются лица, винтовки, которые солдаты несут наперевес. Ближе, ближе. Вот ускорили шаг. Преодолели соснячок и уже побежали. Странно было видеть на солнечной ромашковой полянке бегущие серые фигуры. Шимановсков не выдержал и выстрелил.

— Мать-перемать! — обозлился Пичугов.— Сказано не стрелять.— значит не стрелять!

Кузьму тоже подмывало нажать спусковой крючок. Покосился на Степана. Живодеров докуривал цигарку, она уже обжигала пальцы, а он сосал и сосал ее и исподлобья поглядывал на еланку.

Пичугов оказался возле пулемета, встал в окопе во весь рост. Буднично и просто сказал Мещерякову:

— Ну, Миша, с богом!

И Мещеряков нажал гашетку. Пулемет гулко затакал, и тогда вся линия окопов ощерилась винтовочными дулами с примкнутыми штыками, и началась пальба. Солдаты противника бежали и бежали. Многие падали и не вставали, а живые, будто заведенные, рвались вперед. Кузьма едва успевал перезаряжать винтовку, она у него нагрелась. Палил, едва прицелившись. Пичугов по-прежнему стоял в окопе и наблюдал за боем. Видя, что чехи могут

вот-вот ворваться в окопы — одним пулеметом их не остановишь, он тихо приказал Мещерякову:

— Погодь малость!

И пулемет замолк. Тогда Пичугов выскочил из окопа, вскинул наперевес винтовку и зычным голосом скомандовал:

— За мной, орлы! Урррра-а!

Вчерашние кыштымские мастеровые дружно выскочили из окопов и бросились навстречу мятежникам. Они сотней глоток грянули «ура», и порыв их был настолько стремителен, настолько сокрушающим, что противник растерялся и повернул обратно, не принимая рукопашного боя. Кузьма бежал рядом со Степаном и боковым зрением видел, что в атаку бросилась и Ульяна, путаясь в своей длинной юбке. Косынка сбилась на затылок, щеки полыхали огнем, брови сведены у переносья. В руках никакого оружия. Кузьма уже заметил, что сухощавый остроносый солдатик, который до этого показывал спину, оглянулся и осмелел перед безоружной девушкой. Вскинул на ходу винтовку и выстрелил, но промазал. Тогда Кузьма заорал Ульяне:

— Куда ты прешь?! Вертай назад!

А сам кинулся ей наперерез, отгораживая от солдата. А тот снова на бегу вскинул винтовку и выстрелил. Кузьму что-то толкнуло в левую руку, но никакой боли он не ощутил. В два прыжка догнал остроносого солдатика, и тот не успел еще раз вскинуть винтовку, как Кузьма ударил его дулом между лопаток. Штыка у него не было. Нажал на спусковой крючок. Солдат вздрогнул и замертво свалился на землю. По инерции Кузьма перелетел через него и тоже упал. Хотел было вскочить и не смог. Резкая, обжигающая боль пронзила плечо и сильно стрельнула в голову. У Кузьмы помутнело в глазах, и он застонал. С поля боя его вынес Шимановсков. Оставил в роще, сказав:

— Дюже горячий ты, хлопец! Не гоже так!

И ушел в окоп, потому что противник затевал новую атаку. К Кузьме подошла Ульяна, надрезала ножницами у плеча рукав рубахи и распластала его, освобождая рану. От плеча вниз стекал алый ручеек крови. Ульяна помазала рану йодом, забинтовала, глянула на Кузьму и наткнулась на его пристальный сердитый взгляд. Смутилась:

— Чо так смотришь? Давно не видел?

— Уши бы тебе надрать да некому. Ты чо это на рожон-то полезла? Да еще с голыми руками. Шуточки тебе тут, что ли?

— Уходи-ка ты, Кузьма, отседова, без тебя тут обойдутся.

— Это не твоего ума дело! — Кузьма с трудом поднялся, приладил на правом плече винтовку и зашагал к окнам.

— Сумасшедший, право слово, сумасшедший,— покачала головой Ульяна, но в голосе ее не было осуждения. Ее позвали раненые — их было человек пять.

Кузьму сразу приметил Пичугов, подозвал к себе и свирепо нахмурился. Аж побагровел. Глаза зеленые, беспощадные. У Кузьмы мурашки по спине заползали. Так чеха не испугался, как этого взгляда.

— Шагай в Кыштым! — сказал он тихим голосом.— И чтоб духу твоего не было!

— Да я...

— Молчать! Одна нога здесь, другая там!

Подал голос Живодеров:

— Не ерепенься, Кузьма, что ты с одной-то рукой навоюешь? Моей Матрене привет передавай. Скажи: жив буду, не помру.

— Разговорчики! — прикрикнул Пичугов. И к Кузьме: — Ты долго будешь мне глаза мозолить?

И Кузьма поплелся домой — отвоевался. А белочехи поднимались в новую атаку.

Кыштым придется оставить

Швейкин пригласил Михаила Ивановича в кабинет и наказал красноармейцу, который дежурил теперь в ревкоме вместо Ульяны, никого к нему не пускать. Борис Евгеньевич встал у окна, заложив руки за спину. Молчал. Мыларщиков присел на краешек стола, скручивая цигарку. Под глазами все еще синела куяшская отметина.

— Видимо, Кыштым придется оставить,— проговорил Швейкин, не оборачиваясь.

Михаил Иванович просыпал на пол махорку. Столько войск ушло на Аргаяш, сколько кыштымцев вступило в рабочую дружину — и вдруг оставить!

— Это что же, выходит, духу не хватило одолеть контру?

— Выходит, не хватило. А пуще того — организованности и умения,— ответил Швейкин, отходя от окна. Остановился возле Мыларщикова, понаблюдал, как он склеивает слюной цигарку, невольно поднял глаза на плакат, написанный еще Ульяной. Михаил Ивнович быстренько спрятал цигарку в карман.

— Да ты кури,— сказал Борис Евгеньевич.— Окно открыто. Я просто вспомнил кое-что.

Мыларщиков помялся и прикурил. Дым сильной струей выпустил в окно.

— Неужели такие паршивые дела под Аргаяшом?

— К сожалению. Твой крестник Жерехов скрылся с отрядом.

— Как скрылся?

— Вот так — в неизвестном направлении. Не захотел идти в бой.

— Да он что? А впрочем,— Михаил Иванович сплюнул.— Полюбовался я на его анархистов. Куркули. Чо им советская власть?

— Может, оно и не так, но урок преподан суровый. Следовало послать туда комиссара да двух-трех крепких партийцев. А то ведь стихия-матушка.

— И еще какая,— согласился Мыларщиков.

— Не лучше и с рождественцами. Короче: я только что от военного руководителя. Положение угрожающее. Бои идут ожесточенные. Наши держатся, но выстоять могут дня два, от силы три.

— Дела-а-а...

— И еще — ранен Глазков.

— Да ты что?!

— Повел в атаку красноармейцев. Не приходит в сознание.

— Не повезет, так не повезет. Все к одному.

— Будем спешно готовиться к отходу. На станции ревком зарезервировал три вагона и паровоз. Баланцов займется динамитом. Его надо вывезти в Екатеринбург.

— А не вернее припрятать?

— Нет, есть указание. А ты, Михаил, займешься золотом.

— В одном поезде — динамит и золото?

— А что?

— Разнесет по дороге — ни динамита, ни золота.

— В том и задача — чтоб не разнесло. Чтоб привезли в сохранности в Екатеринбург.

— Задачка! — криво усмехнулся Мыларщиков и выбросил окурок в окно. Поправил рубашку под ремнем и сказал:

— Раз надо, так надо.

— Сделаешь в лучшем виде, не сомневаюсь. Хоть чуточку бы посомневался, послал бы другого.

— И на том спасибо.

— Заберешь золото и серебро, там несколько пудов. Подбери надежных ребят. С завода до станции в одной подводе не увезешь, возьми, сколько потребуется. Погрузишь в средний вагон. Я сказал Баланцову, чтоб не зани-

мал. Погрузишься и сразу трогай, не жди. В Екатеринбурге сдашь под расписку. Если обстановка улучшится, возвращайся. Если нет, смотри по обстоятельствам.

— Ладно.

— Иди,— Борис Евгеньевич обнял Мыларщикова и, подтолкнув за плечо, проговорил:

— Ступай, не прощаюсь, увидимся,— и крикнул вдогонку: — Да будь осторожнее, Михаил!

Борис Евгеньевич несколько минут сидел без движения. Опять отправил близкого человека на опасное, пожалуй, самое опасное задание. Шутка сказать, два вагона взрывчатки! Не дай бог, какой-нибудь лесной бродяга-дезертир стрельнет по вагону, и тогда все. Обстреляли же Михаила с Кузьмой у Каслей. Ушла Ульяна в самое пекло. Хотя и сестрой милосердия, а пуля-то не разбирает, она ведь дура, прав старик Суворов. Не сказал Мыларщикову — а ведь тяжело ранен в ноги Степан Живодеров, Степка-Растрепка. Еще горше думать, что придется уходить из Кыштыма, оставлять родной дом, в котором с таким трудом началась устанавливаться жизнь на новый лад... И все надо бросать...

...Мыларщиков не стал рассказывать Тоне, какое поручение ему дал Швейкин. Только сообщил, что отлучится на несколько дней. А поскольку отлучки были часты, то они уже не вызывали особой тревоги у жены.

...Назарка и Васятка играли во дворе с кутенком. Волчьей масти, крупной породы, но ласковый. Прыгал, повизгивал, ложился на брюхо, подметая землю хвостом. Михаил Иванович поглядывал то на Васятку, то на Назарку. Сыны носились со щенком по двору, как угорелые, вовсю орали. На отца и внимания не обратили. Тоня на таганке разогревала суп. Михаил Иванович сглотнул слюну — проголодался. Взял со стола ломоть, посолил его и принялся есть.

— Обожди малость, сейчас разогреется,— сказала Тоня.— Зачем же в сухомятку-то? Аппетит поломаешь.

— Ерунда! Теленка съем в придачу.

Тоня заметно пополнела. Через месяц, наверное, будет рожать. Ситцевое платье пришлось расставлять по бокам клиньями. Клинья свежие, невыцветшие, заметные. «А может, сказать? — неожиданно подумал Михаил Иванович.— Мало ли что случится?» Положил недоеденный кусок на стол и прикрыл глаза.

— Нездоровится?

— Просто так. Притомился.

Тоня налила в глиняную чашку супа, положила рядом деревянную ложку со стертыми узорами. Ел не спеша, думая все об одном и том же: сказать или не сказать?

— Миш, да что случилось-то?

— Уезжаю я, мать.

— Опять? — расстроилась Тоня, присаживаясь на табуретку рядом с мужем.— Куда же на этот раз тебя черти несут?

— В Катеринбург. Поручение есть.

— Какое?

— Это, положим, военная тайна.

— Тайна? Опять да снова тайна? Секреты! Без них уже и жить не можешь! — и заплакала: — Меня-то ни во что не ставишь.

— Зачем же так, Тонь? — а сам продолжал мучиться: «Сказать или не сказать?»

— Чо, Тонь, чо, Тонь! У тебя сыны растут. А здесь,— она положила руку на округлый живот,— может, сын или девка. Но твоя!

— Рази я отказываюсь?

— Но у тебя на уме не семья, а другое!

— Время ж такое, Тонь!

И тут твердо решил: «Не скажу! Коль случится что, без этого узнает. И Ванька Сериков с Глашей близкие люди, в беде не бросят». Отодвинул пустую чашку, по возможности беспечно взглянул на жену и поднялся. Тоня спросила:

— Когда ждать-то?

— Дня через четыре.

Сыны по-прежнему играли во дворе со щенком. Мать позвала:

— Вы это чо ж? Отец уезжает, а вам хоть бы хны!

Назарка и Васятка разом налетели, обхватили его за талию. Михаил Иванович как-то беспомощно улыбнулся. Но поддал сынам по ласковому подзатыльнику и пригрозил шутливо:

— Глядите! Мать не обижайте!

...С утра было безоблачно и жарко. Завод потонул в прозрачно-сизой дымке. Куры купались в пыли, разинув клювы. Неугомонные нахальные козы прятались от солнца в жиденькой тени заборов, которых особенно много было в переулках. К полудню на южном небосклоне зачернели далекие тучи. Они медленно и упрямо выползали из-за горизонта, растекались в стороны серо-белесыми неспокойными крыльями. На их кромках незаметно, но угрожающе пучились вихри. Центр тучи вклинился черным углом в голубое небо.

Еще блестели глянцем листья берез, но на них уже пала серая тревожная тень. Еще процеживал солнечные зайчики сквозь частые колючки сосновый лес, еще резвились в их свете пылинки, мошки, но уже беспокойство властно овладело миром. По-прежнему купались куры в пыли, но перестали раскрывать клювы. Козы лениво потянулись к дворам. Люди с опаской поглядывали на стремительное наступление грозы. Суеверные истово крестились, многие бросились закрывать ставни и парники — не ровен час, ударит град и останешься без стекол и огурцов. Туча напрочь закрыла солнце. Голубая часть неба потемнела. Зашелестели тополя и березы. Куры разбежались по домам.

Ветер крепчал. Стало темно. Через тучу ярким жгутом полоснула молния, а потом грянул гром. Молнии полосовали тучу вдоль и поперек. Гром гулким раскатистым

эхом бесновался в горах. Упали первые капли дождя, покрылись пылью и превратились в серые катышки. Ветер бесновался с такой силой, что березки сгибались в три погибели и касались макушками земли. Грозовое небо прохудилось, и на землю, иссушенную зноем, низвергся целый водопад.

...После грозы Ульяне помогли погрузить на подводы раненых, чтоб везти их в Кыштым. Был тут и Петр Глазков. Он бредил. Что-то кричал, ругался, кого-то уговаривал отпустить его. С ним неотлучно находился его ординарец. Ульяне так было жаль покалеченных, что она боялась разрыдаться. Она, сжав губы, шагала за подводой, на которой везли Живодерова. Обе ноги перебило осколками, кости поломало. Вот стервецы! Чего это белым чехам дома не сиделось? Что им Степан Живодеров сделал или Кузьма? Что же теперь будет с ними? Не удержались на Бижеляке, в Кыштыме драться не будут — пожалеют детишек и женщин. Придут белые чехи, с ними казаки, издеваться начнут. А как же Борис Евгеньевич? Ему же нельзя оставаться. Как она не подумала об этом раньше? Побежать? Раненых-то без нее привезут, а она хотя бы Бориса Евгеньевича упредит. Глупенькая, да разве он не знает? Да ему давным-давно обо всем доложили, ты же сама понимаешь — все вести в первую голову к нему слетаются. Успокоилась. И вздохнула — нет, наверно, не скоро Борис Евгеньевич повезет ее на плесо встречать восход солнца и ловить крупных окуней. А куда же денем раненых? Ну, комиссара Глазкова увезут в Екатеринбург. А Степана Живодерова куда? Других раненых куда? Ладно, Степана Ульяна возьмет к себе. А остальных?

Медленно бредет лошадь. Постукивают о камни колеса, ухаются в выбоины, откуда сразу же выплескивается вода. Темь такая, что ничего не видать. Слева и справа к дороге подступил сосновый бор, поднялся черной стеной, только вверху светлеет полоска звездного неба.

...Ревут и ревут над Кыштымом заводские и паровоз-

ные гудки. Тоску нагоняют. Верхний завод гудит пронзительно и прерывисто. Нижний басит непрерывно. Писклявой скороговоркой тараторят паровозы. Ни в одной избе не зажигают огня, никто не спит в Кыштыме — тревога и боль на сердце. На улицах кое-где теснятся кучки баб, возле них боязливо жмутся ребятишки. Бабы шушукаются, догадки разные строят, прислушиваются к тревожным гудкам. Всех мучает один вопрос — что же будет? Мужики кто в дружине, кто остался при заводах. Неужто лютый, этот белый чех? Неужто казаки, как и при царе, пороть нагайками будут? Боже праведный, не допусти зла, защити нас!

Шушукаются на темных улочках встревоженные бабы, боятся завтрашнего дня: что он принесет?

У ревкома собираются кыштымские большевики и активисты. Им оставаться нельзя. В Челябе, говорят, всех шашками порушили. Прислушиваются к гудкам, на душе вдвойне муторно — и от тоскливых гудков и от мысли, что придется покинуть родной кров. Надолго ли? Или навсегда? Курят, переговариваются, ждут команды.

Появился Швейкин, быстрый, решительный. Зорким взглядом разыскал среди остальных Григория Баланцова, подошел к нему. Спросил недовольно:

— Кого надоумило устроить эту какофонию?

— Чего, чего? — не понял Баланцов.

— Зачем гудят гудки, я спрашиваю? Настроение и без того паршивое, а тут еще этим душу травят.

— Так ведь, Борис Евгеньевич...

— Распорядитесь, чтоб немедленно прекратили!

Баланцов разыскал двух парней и что-то шепнул им на ухо. Те мигом исчезли. Через несколько минут смолк гудок Верхнего завода, потом утихомирились паровозы. А Нижний побасил, побасил в одиночестве и тоже счел за благо умолкнуть.

Швейкин столкнулся с Кузьмой Дайбовым. У того рука на перевязи.

— А ты чего тут?

— С вами пойду.

— Ты же ранен. Тебе тяжело будет.

— Выдюжу!

К Борису Евгеньевичу протиснулся Ичев. Молча пожал руку, принялся мять в руках кепку.

— Прощевай, значит,— наконец проговорил он.— Взяли бы меня с собой, Борис Евгеньевич?

— Неволить не могу, дорогой Алексей Савельич. Положи себе руку на сердце и решай, как оно тебе подскажет.

— Тяжко,— вздохнул Ичев.

— А мое тебе слово уже сказано: и с кыштымцами в трудную годину кто-то должен остаться. Надо, чтобы в критический час рядом был твердый большевик. Опасно, не спорю. Нам даже легче будет — все же будем артелью и жить станем в открытую. А тебе придется таиться. Ишь как напугал, а? — улыбнулся Борис Евгеньевич.

— Да чо там — пуганый я, бояться разучился. Не суди меня, старика, строго, шибко хочется уйти с артелью.

— Неволить не могу...

— А, да чо попусту воду толочь. Останусь, знамо дело. Кому-то и вправду остаться надобно, а то скажут — бросили. Тебе нельзя — с потрохами съедят. Баланцу тожу. Буду я. Лихом не поминайте, коли что. За наше дело готов принять любые муки.

— Ну не так грустно, Савельич! Мы еще с тобой здесь такие дела завернем — небу станет жарко.

— Погодь, я что-то вспомнил,— Ичев полез во внутренний карман пиджака и вытащил оттуда газету «Уральская жизнь».— Дырявая память-то стала, Якуня-Ваня. На-ко, с восьмого года берег.

— А что в ней?

— Это когда тебя царь судил, так в ней о том и сказано.

— Что ты говоришь! — воскликнул Борис Евгенье-

вич.— Вот это сюрприз! Давай, сохраню, а то у меня такой нету.

На крыльце ревкома появился Рожков, командир охраны ревкома, и громко спросил, не видел ли кто Швейкина.

Борис Евгеньевич отозвался, и все засобирались в дальнюю неведомую дорогу. Построились в колонну по четыре. Кузьма пристроился в самом хвосте. Рожков подал команду, и десятки ног затопали по притихшей кыштымской земле — снова она расставалась с лучшими своими сыновьями.

Алексей Савельевич остался возле ревкома, смотрел вслед ушедшим товарищам. Смахнул слезу и медленно побрел домой.

...Утро. Тревога легла на косогористые улицы, на крыши домов. Не гудели заводские гудки, как они гудели обычно, созывая рабочий народ под цеховые крыши. Не выгоняли бабы коров в стадо на рассвете и не хлопал требовательно пастуший кнут. Даже собаки не лаяли, словно бы чувствуя беду, навалившуюся невесть откуда. И ни души на улицах. Разве где опасливо скрипнет калитка, кто-нибудь высунет из-за нее голову — поглядит сначала в одну сторону, потом в другую. Пустынно. И снова спрячется за тесовыми воротами.

А когда высохла роса, а солнышко, как ни в чем не бывало, отправилось в свой дневной путь, на тихие улицы со стороны Татыша вступила разведка белочехов.

Пора принимать решения

Многих раненых удалось отправить в Екатеринбург, вместе с ними и Глазкова. Живодерова Ульяна привезла к себе домой. Лукерья засуетилась, начала расстилать постель, приговаривая:

— Да кто же его так, сердешного?

Но Ульяна упрямо покачала головой — нет, в избе не годится. Первая же соседка заглянет ненароком, и вся улица будет знать, что у Гавриловых лежит раненый Степан Живодеров, дружинник.

— Давай-ка, маманя, в баню его.

— Очумела, девка,— в баню!

Лишь теперь дошло до Лукерьи — власть переменилась. Иначе зачем же им прятать Живодерова? Отвезти бы домой и дело с концом. Заголосила Лукерья, за волосы схватилась — не похвалит же новая власть за красногвардейца. Ульяна брови насупила, голос подняла на мать — откуда и прыть взялась. Лукерью сильнее всего это и потрясло. Гляди-ко, дочь-то у нее какая стала! А Лукерья по-прежнему считала ее тихоней. И поняла в этот миг Лукерья, что кончилась ее власть над дочерью и даже обрадовалась — устала она, хотелось опереться на чье-нибудь плечо, близкое и сильное.

Устроили Степана в бане, а ему все хуже и хуже. В себя не приходит. Мечется в бреду, кричит и матом ругается. Ульяна весь день просидела возле него, стирала у него с лица пот, смачивала высохшие губы мокрой тряпочкой.

Еле дождалась вечера и задворками пробралась к Ичевым. Алексей Савельевич был дома. Сумерничал в одиночестве на крыльце и курил самосад. Усадил Ульяну рядышком, а ей не сиделось, жгла без передыху тревога за Живодерова — а вдруг умрет?

— По делу или так? — спросил Ичев, косясь на девушку.

— По делу, дядя Алеша. Можно, в избу?

— Говори здесь, Якуня-Ваня, никого же нет.

И девушка на одном дыхании рассказала про Степана. Ичев нахмурился, затоптал цигарку.

— Сурьезная штука...— проговорил он задумчиво и вроде бы впал в забытье.

— Вот что, девка, из вашей бани его надобно убрать, нельзя ему там оставаться. Тебя проверять зачнут, со Швейкиным же якшалась. Ужо спрятаться и тебе на время не мешает.

— Да куда же я? — растерялась Ульяна.

— Это потом. А теперь так. Беги к доктору, да поостерегись. Я тут с соседкой покалякаю, с Авдотьей. У нее Степану будет спокойнее.

— Доктор-то придет?

— Должон. Дуй — не стой!

В Кыштыме, собственно, еще не было никакой власти. Чехословаки и казаки крутились больше на станции. Но страшны-то не столько они, а свои иуды. Подглядят и донесут.

Юлиан Казимирович жил возле больницы в желтеньком маленьком домике. Ульяна поскреблась в окошко. Доктор не спал — распахнул створки окна и выглянул. Узнал Ульяну — в Совете встречал, она в больницу приходила по поручению Швейкина.

— Т-сс! — сказал он и приложил к губам палец. Захлопнул окно.

Ульяна испугалась: не будет с нею разговаривать? Но доктор открыл калитку и позвал девушку к себе во двор.

— Доктор, миленький, у меня дома раненый помирает. Скорее, прошу вас, умоляю...

— Не надо меня умолять,— сердито сказал доктор и пошел одеваться. Шли глухими переулками, порознь. Ульяна впереди, он за нею на почтительном расстоянии.

В бане плотно занавесили окошечко и зажгли лампу. Лукерью и Ульяну туда не пустили — доктор пожелал остаться только с Алексеем Савельевичем. Сняли пропитанные кровью бинты. Ичев пододвинул ближе лампу. Одного взгляда хватило, чтобы определить — на левой ноге началась гангрена. Ногу надо было немедленно ампутировать. И пришлось Ульяне еще раз бежать к домику

доктора с запиской. Жена без единого вопроса собрала баульчик с нужными медикаментами и инструментом.

Операция закончилась к утру. Пока было сумеречно, перенесли раненого в баню тетки Авдотьи. Доктор ушел домой. Алексей Савельевич посоветовал Ульяне:

— Вот что, Уля, катай-ка ты в Карабаш. Сестра у меня там, пересидишь, а там видно будет.

— Дядя Алеша, а как же мама?

— Пригляжу, не боись. Не теряй, дочка, время. О Живодерове не беспокойся. Авдотья — человек верный. Степкиной Матрене пока говорить не след.

В то же утро Ульяна ушла в Карабаш.

...Через три дня в Кыштыме объявился военный комендант полковник Жиленков. Земская управа будет создана военными властями значительно позже, а пока бразды правления взял полковник Жиленков. Под резиденцию облюбовал белый дом, который пустовал. Когда положение стабилизируется, в нем откроют школу артиллерийских прапорщиков. А пока во всем огромном доме располагался комендант и его взвод. Первый приказ требовал сдачи всего огнестрельного и холодного оружия и выдачи большевистских комиссаров.

Полковник приказал адъютанту впускать к себе всех посетителей.

Аркадий Михайлович Ерошкин оказался первым из них. Нарядился, как на великосветский прием: в тройку синего английского сукна, в накрахмаленную манишку с бабочкой в синюю веселую крапинку. В штиблеты можно было смотреться, словно в зеркало. Знаменитая трость висела на полусогнутой левой руке. Апартаменты белого дома были хорошо знакомы. Комендант занимал кабинет управителя.

В приемной Ерошкина остановил щеголеватый молодой поручик.

— Что угодно? — щелкнул каблуками поручик, слегка наклонив голову. «Вот обращение так обращение,—

подумал Ерошкин.— А Мишка Мыларщиков мог запросто схватить за рукав и бесцеремонно утянуть в свою боковушку». Аркадий Михайлович вытащил из жилетного кармашка визитную карточку. Сохранилась с добрых старых времен. Славянской вязью выведено: «Аркадий Михайлович Ерошкин, инженер. Кыштымский горный округ». Поручик с визитной карточкой скрылся в кабинете и появился оттуда буквально через секунду. Открыл дверь и пригласил:

— Прошу, господин Ерошкин!

Аркадий Михайлович бодрым шагом последовал в кабинет и увидел за столом полковника: тучного, лысого, подбородок наплывал на стоячий воротник кителя. Жиленков жестом пригласил посетителя сесть и внимательно оглядел его. Ерошкин отметил про себя: глаза у коменданта карие, умные.

— Слушаю вас, господин Ерошкин.

— Я пришел засвидетельствовать, некоторым образом,— заволновался Аркадий Михайлович,— свою преданность новой власти и предложить ей свои услуги.

— Благодарю,— наклонил лысую круглую голову полковник.— Уточните, пожалуйста, какие услуги вы могли бы нам оказать?

— Охотно. Видите ли, я много лет служил в управлении округа, до сих пор сохранил доверительные отношения с правителем Верхнего завода господином Ордынским. Вы знакомы с ним?

— Не имею чести.

— Кстати, господин Ордынский недавно приезжал на завод, у нас была конфеденциальная встреча относительно будущего Кыштымского округа.

— И каково же оно? — заинтересовался полковник.

— Как вы, вероятно, знаете, Кыштымские заводы принадлежали английскому акционерному обществу...

— Никаких англичан! — неожиданно хлопнул по столу пухлой рукой Жиленков.— Наводнили Россию всяки-

ми англичанами да немцами, а теперь расхлебываем!

— Простите, но...— растерялся Аркадий Михайлович, а сам все же подумал: «Ну солдафон, а по внешности вроде аристократ».

— Никаких «но»! Россия только для русских! Большевики продали Россию немцам в Бресте. Вы хотите англичанам? Не бывать этому!

— Так точно, господин полковник!

— Скажите, а при совдепах вы чем занимались?

— Я? — дрогнувшим голосом спросил Ерошкин.— Я, некоторым образом, был председателем Союза служащих.

— И большевики вас не трогали?

— Как вам сказать?

— Прямо и скажите.

— Некоторым образом не трогали...

— Странные тогда у вас были большевики. Или же вы странный, господин Ерошкин. Вы какую веру исповедуете?

— Православную, разумеется...

— Я не про то... В какой партии вы состоите?

— Я эсер, господин полковник.

— Эсер? Извините, но о каких услугах с вашей стороны может идти речь? Вы же с ног до головы красный, господин... э,— он заглянул в визитную карточку,— э... господин Ерошкин!

— Но, господин полковник!

— Вы имеете сообщить мне что-нибудь важное?

— Выслушайте меня, прошу вас...

— До свидания, господин Ерошкин!

У Аркадия Михайловича кровь отлила от лица, сердце сбилось с ритма. Едва дошел до двери. В приемной уронил трость. Стал поднимать, голова закружилась. На улице широко раскрытым ртом хлебнул свежего воздуха — пришел в себя. Ерошкин никак не мог понять, почему полковник так жестоко обошелся с ним. Неужели кто

успел накляузничать? Неужели история с золотом обернулась против него? Боже милосердный! Но откуда полковнику знать ту историю — он же всего третий день в Кыштыме. Чего доброго, еще припишут сотрудничество с большевиками. Только этого не хватало.

Нет, того быть не может. И Ордынский подтвердит, и Белокопытова, и местные имущие граждане. Ведь он же, никто другой, а именно он, Ерошкин, собирал их у Евграфа Трифонова. А они возьмут да откажутся? Да еще приплетут — мол, прибрал к рукам наше золото. И ничем не оправдаешься. А ведь, казалось, перспектива у него беспроигрышная. Где же сейчас Ордынский, где перспектива? Екатеринбург еще в руках большевиков. Когда там воцарится законная власть и воцарится ли вообще — вопрос. Пока суд да дело, полковник Жиленков прикажет вздернуть его, Аркадия Михайловича, на первом же суку. Он даже кровью налился, когда рявкнул: «Да вы же с ног до головы красный!» На что жена, обычно глухая к душевным переживаниям мужа, и та заметила его угнетенное состояние. Спросила участливо — не болен ли? Аркадий Михайлович вспылил было по привычке, но вдруг до слез стало жаль себя и поплакался жене о своем неудачном визите. Она посоветовала ему исчезнуть на время, а как все уляжется, тогда и вернуться. Легко сказать исчезнуть. А куда?

Кроме того, это значит дать полковнику Жиленкову козырь. В самом деле, если не виноват, зачем же прятаться? А что делать? Сидеть дома и выжидать? Но, возможно, как раз сейчас и есть самый подходящий момент проявить себя? Большевики бросили на произвол заводы, хозяева еще не вернулись. Самое подходящее время взять на себя ответственность. В деловом совете кроме большевиков состояли и служащие, и инженеры, и другие представители. Вот и надо перехватить инициативу — встать во главе делового совета, очищенного от большевиков, и полковнику Жиленкову не к чему будет при-

драться. А там посмотрим, кто будет хозяином: англичане ли, которых почему-то не любит полковник, или кто другой.

Эти мысли успокоили Аркадия Михайловича, придали ему бодрости и решимости, и на другое утро он, как ни в чем не бывало, направился на службу, держа, под мышкой свою неизменную тросточку.

...Жиленков пригласил к себе священника из Белой церкви отца Николая и попросил его отслужить молебен в честь победы белого оружия, освобождения Кыштыма от большевистских комиссаров. И отслужить не где-нибудь, а на главной площади, перед памятником государю императору Александру II. Да собрать побольше народу.

Но отец Николай заупрямился. Тряс своей бородищей и гривой, золотой крест на груди теребил и твердил одно — опоганено то место. Жиленков побагровел. Розовой сделалась даже начисто бритая голова. Уперся руками о край стола, медленно поднялся из кресла и не закричал, нет, а тихо и с расстановкой сказал:

— Уму непостижимо! Даже попы, даже попы заразились большевистским духом неповиновения,— и вдруг крикнул, ударив по столу кулаком: — Да я тебя выпороть прикажу на конюшне!

Отец Николай перепугался, низко поклонился полковнику и попросил:

— Христом богом прошу выслушать меня!

К Жиленкову вернулось самообладание. Он сел в кресло, но попу сесть снова не предложил: ничего, постоит.

— Нельзя служить молебствие на том месте, господин полковник, войдите в мое положение. Опоганили мерзкопакостные большевики то место, похоронили там безбожника, христопродавца Кольку Горелова, большевистского комиссара.

Жиленков облегченно вздохнул — только-то?

— Дело поправимое,— сказал Жиленков и вызвал

поручика. Тому было дано приказание — выкопать гроб с большевиком и увезти на кладбище. Пусть постараются солдаты. Подумал и добавил:

— И ночью, только ночью! Чтоб без лишних глаз. Да чтоб присутствовали при этом родственники, непременно!

...Притих Кыштым, опустели косогористые улочки. Лишь на станции вроде цыганский табор — одни войска прибывали, другие пешим порядком отправлялись по каслинской дороге к Букояну — там кыштымцы да каслинцы еще дрались с белыми. Медленно, настороженно прополз на Маук бронепоезд — силища! В броню закован, в узенькие окошечки-бойницы высовывались либо бульдожьи рыла пулеметов, либо длинные жерла пушек. Потом и на станции наступило затишье. С Букояна кыштымцы и каслинцы ушли лесом на Уфалей. Пронесся слух, будто арестовали Тимонина. Зачем-то приехал в Карабаш, не остерегся. Его сцапали и увезли в Челябинск.

Когда об этом узнал Батятин, то окончательно поверил — наша взяла. Большевикам аминь! В одно солнечное июньское утро вышел Лука Самсоныч на улицу, постоял у ворот, как давно не стоял. Брюшко погладил. Погода-то! На заказ! Ни облачка. Солнышко с утра поджаривает. Сугомак и Егоза в синей дымке — к устойчивому вёдру. Можно радоваться, бояться уже некого. Хорошо и на душе у Луки Самсоныча, благостно. А как глянул на притихший дом Мыларщиковых, зашевелилась обида. Вспомнил настырные глаза рыжего соседа. Зябко поежился. Ничего, наконец-то настало времечко, поквитается Лука Самсоныч со всеми, кто обижал его за налоги, за красавца рысака, за волкодава, за все унижения. Сполна поквитается! Стоит у ворот Лука Самсоныч, разжигает себя жаждой мести. Золотым июньским утром больше не любуется. А в это время дедушка Микита куда-то направился. В холщовой рубахе, в латаных

портках. Бороденка не чесана. На батожок упирается, мимо Луки идет, кланяется:

— Доброго здоровьечка, Лука Самсоныч!

— А-а! — зло щурится Батятин.— Старый хрыч! Кончилась, сказывают, коту масленица?

— Бог с тобой, Лука Самсоныч! Что ты с самошнего утра такой злой? Али не выспался?

— Откомиссарились! Каторжника-то куда спрятал?

Дед Микита от обиды задохнулся, остановился, потоптался на месте и, сбиваясь на фистулу, крикнул:

— Ты мово Петруху не трожь!

— Петля по нему плачет, по твоему Петрухе!

— Тьфу, хорек вонючий! — в сердцах плюнул дед Микита да еще растер плевок чуней.

Батятин взвился:

— Это кто хорек?

— Ты, знамо дело, да еще живоглот в придачу.

— Да я тебя, крапивное семя!

— На-кось, выкусь! — Дед Микита показал кукиш и вознамерился продолжать путь. Но к нему подскочил Батятин, схватил за бороду и потянул вверх — дедушкина голова запрокинулась назад.

— Я те покажу хорька вонючего!

Крепко зажал Батятин хилого дедушку Микиту, у того в глазах помутилось. Поднял батог да ударил Луку по плечу. Какой уж там удар — так себе, для видимости. Но это окончательно распалило Луку. Глаза налились кровью. Озверел. Крутнул старика за бороду и повалил на землю. Принялся пинать, топтать, приговаривая:

— На те! На те! Каторжники! Бандиты!

Глаша невзначай выглянула в окошко и обомлела.

— Вань, Вань,— закричала она.— Глянь, Лука-то Самсоныч дедушку Микиту убивает! Что деется-то!

Иван как был в нижнем белье и босиком, так и на улицу выскочил. Схватил Батятина за грудки, притянул к себе и проговорил:

— Лука Самсоныч, опомнитесь, что же вы делаете?

— А, и ты тут! — накинулся Батятин на Ивана.— Когда рысака уводили с моего двора, где ты был? Рядом стоял и радовался! Пошто не заступился? А тут прибежал! Н-на! — и он ударил Серикова в скулу. Тут уж Ивана допекло. Когда Лука замахнулся второй раз, увернулся от удара и что было силы двинул вперед кулак — под самый Лукашкин дых! Батятин, словно рыба на суше, хватнул ртом воздух, всхлипнул и, переломившись пополам, рухнул на каменистую землю.

Иван склонился над дедушкой Микитой. Лицо в ссадинах, изо рта текла струйка крови. Глаза открыты, да только они уже ничего не видели. Иван бережно поднял дедушку Микиту и унес его к себе домой.

Лука оклемался, тяжело встал на ноги, осоловелым взглядом оглядел пустынную улицу и, держась за живот, поплелся к своим воротам. Через полчаса он уже в косоворотке, в праздничных сапогах и фуражке с лаковым козырьком вышел из дома и решительным шагом направился в центр. Он появился в приемной полковника Жиленкова и сказал:

— Батятин я, Лука Самсонов сын.

— Ну так что? — насмешливо спросил поручик.

— Всех кыштымских крамольников знаю, помочь хочу, отечеству нашему послужить хочу.

— Похвально,— одобрил поручик и поспешил доложить о новом посетителе полковнику. Жиленков и Лука Самсоныч столковались удивительно быстро, нашли общий язык по всем статьям. И вот Батятин вышагивает по Нижегородской улице, за ним унтер-офицер, а с тем — двое солдат. У них приказ полковника Жиленкова — обыскать дома кыштымских большевиков и всех подозрительных задержать. У Луки Батятина адреса, у унтер-офицера сила...

...Похоронили дедушку Микиту. Сериков заколотил окна в глазковском доме, на двери повесил замок. Глаша

иногда заглядывала в дедушкин огород — поливала огурцы, полола морковь, смотрела за картошкой. Не пропадать же добру.

Кыштым в эти дни узнал Батятина. Лука без устали рыскал с унтер-офицером и двумя солдатами, искал спрятавшихся большевиков, но никого не находил. Станут они его ждать! Зато похватали много невинных, и каталажка уже не вмещала всех арестованных. Даже полковник Жиленков вынужден был вмешаться и освободить добрую половину арестованных, унтер-офицеру сделал внушение — хватай, но с разбором! Всех подозрительных проверил Лука, но Мыларщиковых до поры не трогал. Ему, конечно, было известно, что Михаила нет дома. Но такое он знал и о Швейкине, однако весь дом перевернул вверх дном и пригрозил посадить в кутузку Екатерину Кузьмовну. Может, Лука боялся Мыларщикова? Или Рожкова-богатея? Как ни крути, а Тоня ему дочь, хотя и отвергнутая. Или сдерживала Луку смерть старика Глазкова? А что? Замахнется и на Тоню, ему тогда по земле не ходить. А ходить ему еще не надоело.

И вот приказ по Кыштымскому заводу — всех мужиков солдатского возраста забрить в белую армию. Схватился за голову Сериков. Большевики — те уговаривали: вступай в Красную гвардию. Не хотел. Хватит, навоевался. Полковник Жиленков, похоже, уговаривать не собирался. У Ивана за плечами боевой опыт, на груди за храбрость Георгий. Такие солдаты для белой армии очень нужны. Полковнику не скажешь — будя, отвоевался! Быстро в расход пустит. Царской закваски полковничек-то!

Опять сидят вечером Иван да Глаша, огня не зажигают — горюют. Скоро полночь, а на дворе еще светло. Вот уже заря с зарею сходится. Сейчас что с удочкой на озере посидеть — благодать, что за земляникой сходить — удовольствие. А чуток позднее можно косу на

плечо и в Урал — сено заготавливать, Буренке на зиму пропитание добывать. Зимой, глядишь, у Сериковых пополнение в семье будет: ох, как молочко-то пригодится! Жить да жить и радоваться! Но какая тут радость, откуда ей взяться? На дворе красное лето, а на душе декабрьская стужа. Ни за что, ни про что убил Батыз дедушку Микиту. Предает всех без стыда и совести. На что уж богатеи, вроде Пузанова и Лабутина, люто ненавидели советскую власть, готовы были большевикам глотки перегрызть, но не их детям, женам и матерям. А этот с бабами воюет — шибко паскудный человек. Даже богатеи избегают с ним встречаться, запачкаться боятся.

Иван после дедушкиных похорон весь вечер караулил Луку — тот домой возвращался поздно. Остановил возле своего дома, встал поперек пути и сказал:

— Слышь, Лука Самсоныч,— по-соседски хочу с тобой.

— Валяй.

— Ты меня знаешь — фронтовик я. Всякого нагляделся — во сколько! Ни сатаны, ни конца света не боюсь. Скумекал?

— Бреши, слухаю.

— Дедушку Микиту я тебе не прощу, понял?

— А ну, брысь с дороги!

— Не спеши. Не брыкайся, а слухай, пока я говорю!

— Да я ж тебя сгною!

— Ну и мразь же ты, Лука Самсоныч! А еще сосед. Так вот: ежели хоть волосок упадет с головы Тони Мыларщиковой, то дело будешь иметь со мной. А я постараюсь. Понял?

— Я тебя скорее к ногтю прижму! В кутузку!

— Не имеешь права,— усмехнулся Сериков.

— Это пошто же?

— А по то — я Георгиевский кавалер. Для большевиков — это нуль без палочки, а в белой армии почет!

— Эх, Иван, Иван, с этого бы и начинал. А то припомню да припомню! Мы ведь всегда поладим, чо нам с тобой делить-то?

— Многое, Лука Самсоныч, многое. Пеганку, например. А теперь вот еще дедушку Микиту.

На другой день Сериков ждал Луку с унтером, но они не пришли. Выходит, боится Лука? А все же лучше от греха подальше. Глаша шепчет:

— Вань, а Вань, айда в Урал, на наш покос. Балагушу построишь, отсидишься.

— Оно бы, конечно, так, да заваруха-то какая. И не это больно, а то, что Батыз тут совсем распояшется. Он злой кобелина, как волкодав. Погрызет вас всех. Особливо тебя да Тоню.

— А в солдатах лучше?

— Пошто же лучше? Вот жизня проклятущая наступила. Как в сказке: налево пойдешь — коня потеряешь, направо шагнешь — живота лишишься.

Глаша прислонила голову к его груди, и чует он — что-то жжет ему грудь. А это горючие слезы. Вот, мать честная, из одной беды выкарабкался, другая нависла, и кто ведает — которая страшнее. После полуночи в окно требовательно забарабанили.

— Вань, а ведь это за тобой,— прошептала Глаша.— Сгинь! Скорее сгинь!

Иван и сам понял — за ним. Не спит богом данный соседушка. Ну, погоди, паразит, поквитаемся еще! Схватил шинель, в чулане винтовку, приготовленную на всякий случай после смерти дедушки Микиты, тенью кинулся во двор, оттуда в огород. Пополз по меже в соседний огород. Слышал, как барабанили в окно непрошенные гости, Глашин испуганный голосок, батятинский подлый голос. Открыла, видать, дальше-то тянуть опасно. Засуетились по двору, на чердак полезли, в огород выскочили. Искали.

А он лежал в соседнем огороде за баней, винтовку

приготовил — будет отстреливаться. Первого постарается уложить Батыза, если сунется.

Вскоре во дворе затихло. Иван терзался: заглянуть домой или не надо? Хоть бы еще разочек взглянуть на Глашу, поцеловать на прощание. Нет, пожалуй, не стоит. Могли засаду оставить. Лука — это лис, такого не проведешь!

И время позднее. Скоро светать начнет. Затемно нужно выбраться в лес, иначе выследят, мороки не оберешься. Особо-то они ему ничего не сделают, а вот в солдаты наверняка заберут. Нет, не светит ему такая перспектива. Не пойдет он в белую армию.

Выполз Иван к глухому переулку, перемахнул через забор. Огляделся. Кругом никого нет. Надел шинель, застегнул на все крючки. Фуражку прихватить не успел. На ногах только галоши. Ничего! Хорошо, что хоть это есть. Закинул за плечо винтовку и зашагал к Сугомаку. Доберется до леса, а там пойдет искать Швейкина и Мыларщикова: примут, поди? С ними-то веселее будет. Или в самом деле заберется на свой покос и пересидит эту сумятицу?

Только об одном ныло сердце: Глаша-то осталась одна да еще рядом с таким волком, как Батыз...

СОДЕРЖАНИЕ

Аношкин Михаил Петрович

КЫШТЫМЦЫ

Редактор **Р. М. Ушеренко**
Оформление **Е. К. Первышина**
Худож. редактор **Н. А. Кудричев**
Техн. редактор **Л. М. Власова**
Корректор **Н. В. Канищева**

Сдано в набор 13/XII-1974 г.
Подписано к печати 24/II-1975 г. ФБ09107.
Формат бумаги 70×108/32 —
6,875 физ. п. л., 9,63 усл. п. л.,
9,95 уч.-изд. л.
Тираж 10 000 экз.
Бумага № 1. Изд. № 3321.

Южно-Уральское книжное издательство.
г. Челябинск, пл. Революции, 2.
Областная типография
Челяб. обл. управления издательств,
полиграфии и книжной торговли,
г. Челябинск, ул. Творческая, 127.
Заказ № 3364.
Цена 33 коп.
Переплет 11 коп.

44 к.

Южно-Уральское книжное издательство · 1975


кыштымцы